

а Булат ОКУДЖАВА Частини на Арбане б



Булат
ОКУДЖАВА

Частини на Арбане



Г.Ванькович 702.

ΠΑΝ
ΜΟСКΒΑ
1996



Булат
ОКУДЖАВА

Чаепитие на Арбате



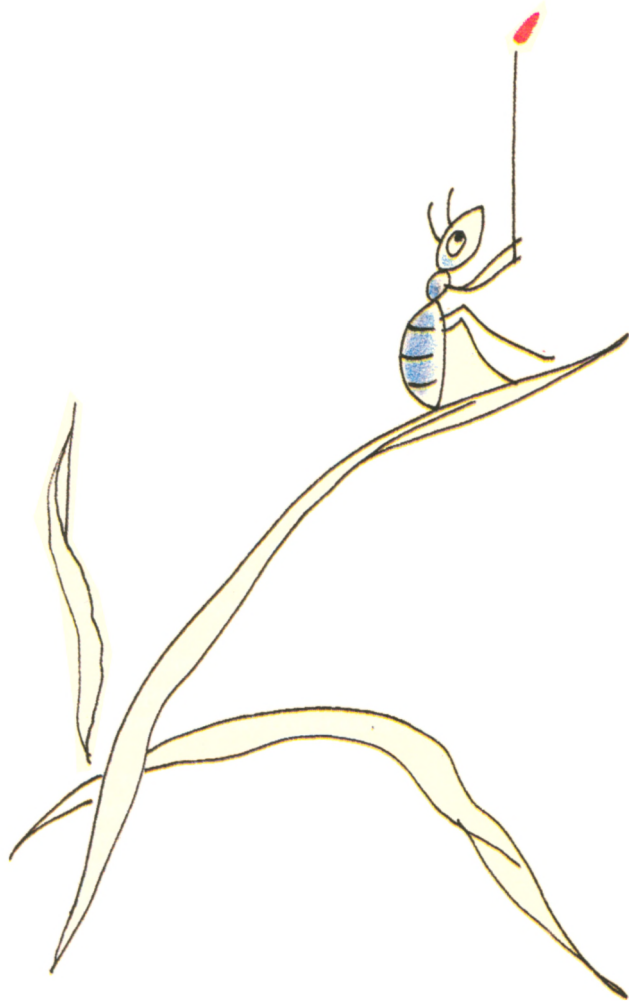
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ПАН
МОСКВА
1996

художник Галина Ваншенкина

© Б.Ш.Окуджава, стихи, 1996
© Г.К.Ваншенкина, оформление, 1996
© ООО „Издательство ПАН”, 1996

ПЯТИДЕСЯТЫЕ





На Тверском бульваре

На Тверском бульваре
вы не раз бывали,
но не было, чтоб места не хватило
на той скамье зеленой,
на перенаселенной,
как будто коммунальная квартира.

Та зеленая скамья,
я признаюсь без вранья,
даже в стужу согревала непутевого меня.

А с той скамьи зеленой,
с перенаселенной,
случается, и при любой погоде
одни уходят парами
дорожками бульварными,
другие в одиночестве уходят.

Та зеленая скамья,
я признаюсь без вранья,
для одних недолгий берег, для других дымок жилья.

* * *

Эта женщина! Увижу и немею.
Потому-то, понимаешь, не гляжу.
Ни кукушкам, ни ромашкам я не верю
и к цыганкам, понимаешь, не хожу.

Напророчат: не люби ее такую,
набормочут: до рассвета заживет,
наколдуют, нагадают, накукуют...
А она на нашей улице живет!

* * *

Ю. Нагибину

Неистов и упрямы
гори, огонь, гори.
На смену декаблям
приходят январь.

Нам всё дано сполна:
и горести и смех,
одна на всех луна,
весна одна на всех.

Прожить лета б дотла,
а там пускай ведут
за все твои дела
на самый страшный суд.

Пусть оправданья нет
и даже век спустя...
Семь бед — один ответ,
один ответ — пустяк.

Неистов и упрямы
гори, огонь, гори.
На смену декаблям
Приходят январь.

Синька

В южном прифронтовом городе на рынке
торговали цыганки развесной синькой.
Торговали цыганки, нараспев голосили:
„Синяя синька! Лиля-лиля!”

С прибаутками торговали цыганки
на пустом рынке, в рядах пустых,
а черные мужья крутили сигарки,
и пальцы шевелились в бородах густых.

А жители от смерти щели копали.
Синьку веселую они не покупали.
Было вдоволь у них синевы под глазами,
синего мрака погребов наказанья,
синего инея по утрам на подушках,
синей золы в печурках потухших...

И всё же не хватало им синего-синего,
как матери — сына, как каравая сытного,
а синька была цвета синего неба,
которого давно у них не было, не было.

И потому, наверное, на пустом рынке,
пестрые юбки по ветру кружа,
торговали цыганки (чудеса!) синькой,
довоенной роскошью, без барыша.

Сентиментальный марш

Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой
сыграет,
когда трубу к губам приблизит и острый локоть
отведет.
Надежда, я останусь цел: не для меня земля
сырая,
а для меня твои тревоги и добрый мир твоих
забот.

Но если целый век пройдет, и ты надеяться
устанешь,
Надежда, если надо мною смерть распахнет
свои крыла,
ты прикажи, пускай тогда трубач израненный
привстанет,
чтобы последняя граната меня прикончить
не смогла.

Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься
не удастся,
какое б новое сраженье ни покачнуло шар
земной,

я всё равно паду на той, на той единственной
гражданской,
и комиссары в пыльных шлемах склонятся
молча надо мной.

Веселый барабанщик

Встань пораньше, встань пораньше, встань
пораньше,
когда дворники маячат у ворот.
Ты увидишь, ты увидишь, как веселый
барабанщик
в руки палочки кленовые берет.

Будет полдень, суматохою пропахший,
звон трамваев и людской водоворот,
но прислушайся — услышишь, как веселый
барабанщик
с барабаном вдоль по улице идет.

Будет вечер — заговорщик и обманщик,
темнота на мостовые упадет,
но взглядишь — и ты увидишь, как веселый
барабанщик
с барабаном вдоль по улице идет.

Грохот палочек... то ближе он, то дальше,
сквозь сумятицу, и полночь, и туман...
Неужели ты не слышишь, как веселый
барабанщик
вдоль по улице проносит барабан?!

* * *

Время идет, хоть шути — не шути,
как морская волна вдруг нахлынет и скроет...
Но погоди, это всё впереди,
дай надышаться Москвою.

Мало прошел я дорогой земной.
Что же рвешь ты не в срок пополам мое сердце?
Ну не спеши, это будет со мной,
ведь никуда мне не деться.

Видишь тот дом? Там не гасят огня,
там друзья меня ждут не больным, не отпетым...
Да не спеши! Как же им без меня?
Надо ведь думать об этом.

Дай мне напиться воды голубой,
придержи до поры и тоску и усталость...
Ну потерпи, разочтемся с тобой —
я должником не останусь.

* * *

Женщины-соседки, бросьте стирку и шитье,
живите, будто заново, всё начинайте снова!
У порога, как тревога, ждет нас новое житье
и товарищ Надежда по фамилии Чернова.

Глаза ее суровы, их приговор таков:
чтоб на заре без паники, чтоб вещи были собраны,
чтоб каждому мужчине — по паре пиджаков
и чтобы ноги — в сапоги, а сапоги — под седлами.

Прощайте, прощайте, наш путь предельно чист,
нас ждет веселый поезд, и два венка терновых,
и два звонка медовых, и грустный машинист —
товарищ Надежда по фамилии Чернова.

Ни прибыли, ни убыли не будем мы считать —
не надо, не надо, чтоб становилось тошно!
Мы успели всяких книжек сорок тысяч прочитать
и узнали, что к чему и что почем, и очень точно.

* * *

Не верь войне, мальчишка,
не верь: она грустна.
Она грустна, мальчишка,
как сапоги тесна. .

Твои лихие кони
не смогут ничего:
ты весь — как на ладони,
все пули — в одного.

* * *

... И когда удивительно близко
остается идти до тебя,
отправляется нежность на приступ,
в свои тихие трубы трубя.

И поротно, и побатальонно
льется в душу она сгоряча,
и ее голубые знамёна
на твои упадают плеча.

Знаешь, Оля, на улочке этой,
где старинные стынут дома,
в поединках сходились поэты,
гимназистки сходили с ума.

Продолжается жизни движенье
вдоль по улочке. Век непочат.
Продолжается листьев круженье,
каблуки по асфальту стучат.

И за щедрой твоею рукою
что-то брезжится мне впереди,
и в груди назревает такое,
что уже не хватает груди.

* * *

Глаза, словно неба осеннего свод,
и нет в этом небе огня,
и давит меня это небо и гнет —
вот так она любит меня.

Прощай. Расстаемся. Пощады не жди!
Всё явственней день ото дня,
что пусто в груди, что темно впереди —
вот так она любит меня.

Ах, мне бы уйти на дорогу свою,
достоинство молча храня!
Но старый солдат, я стою, как в строю...
Вот так она любит меня.

Голубой шарик

Девочка плачет: шарик улетел.
Ее утешают, а шарик летит.

Девушка плачет: жениха всё нет.
Ее утешают, а шарик летит.

Женщина плачет: муж ушел к другой.
Ее утешают, а шарик летит.

Плачет старушка: мало пожила...
А шарик вернулся, а он голубой.

Ванька Морозов

А. Межирову

За что ж вы Ваньку-то Морозова?
Ведь он ни в чем не виноват.
Она сама его морочила,
а он ни в чем не виноват.

Он в старый цирк ходил на площади
и там циркачку полюбил.
Ему чего-нибудь попроще бы,
а он циркачку полюбил.

Она по проволке ходила,
махала белой рукой,
и страсть Морозова схватила
своей мозолистой рукой.

А он швырял в „Пекине” сотни:
ему-то было всё равно.
А по нему Маруся сохнет,
и это ей не всё равно.

А он медузами питался,
циркачке чтобы угодить,
и соблазнить ее пытался,
чтоб ей, конечно, угодить.

Не думал, что она обманет:
ведь от любви беды не ждешь...
Ах, Ваня, Ваня, что ж ты, Ваня?
Ведь сам по проволке идешь!

* * *

Не бродяги, не пропойцы,
за столом семи морей
вы пропойте, вы пропойте
славу женщине моей!

Вы в глаза ее взгляните,
как в спасение свое,
вы сравните, вы сравните
с близким берегом ее.

Мы земных земней. И вовсе
к черту сказки о богах!
Просто мы на крыльях носим
то, что носят на руках.

Просто нужно очень верить
этим синим маякам,
и тогда нежданный берег
из тумана выйдет к вам.

* * *

А. Шуб

Нева Петровна, возле вас — всё львы.
Они вас охраняют молчаливо.
Я с женщинами не бывал счастливым,
вы — первая. Я чувствую, что — вы.

Послушайте, не ускоряйте бег,
банальным славословьем вас не трону:
ведь я не экскурсант, Нева Петровна,
я просто одинокий человек.

Мы снова рядом. Как я к вам привык!
Я всматриваюсь в ваших глаз глубины.
Я знаю: вас великие любили,
да вы не выбирали, кто велик.

Бывало, вы идете на проспект,
не вслушиваясь в титулы и званья,
а мраморные львы — рысцой за вами
и ваших глаз запоминают свет.

И я, бывало, к тем глазам нагнусь
и отражусь в их океане синем
таким счастливым, молодым и сильным...
Так отчего, скажите, ваша грусть?

Пусть говорят, что прошлое не в счет.
Но волны набегают, берег точат,
и ваше платье цвета белой ночи
мне третий век забыться не дает.

Вобла

Холод войны немилосерд и точен.
Ей равнодушия не занимать.

... Пятеро голодных сыновей и дочек
и одна отчаянная мать.

И каждый из нас глядел в оба,
как по синей клеенке стола
случайная одинокая вобла
к земле обетованной плыла,
как мама руками теплыми
за голову воблу брала,
к телу гордому ее прикасалась,
раздевала ее догола...
Ах, какой красавицей вобла казалась!
Ах, какую крошечной вобла была!
Она клала на плаху буйную голову,
и летели из-под руки
навстречу нашему голоду
чешуи пахучие медяки.

А когда-то кружек звон, как звон наковален,
как колоколов перелив...

Знатоки ее по пивным смаковали,
королевою снеди пивной нарекли.

... Пятеро голодных сыновей и дочек.
Удар ножа горяч как огонь.
Вобла ложилась кусочек в кусочек —
по сухому кусочку в сухую ладонь.
Нас покачивало военным ветром,
и, наверное, потому
плыла по клеенке счастливая жертва
навстречу спасению моему.

* * *

На белый бал берез не соберу.
Холодный хор хвои хранит молчанье.
Кукушки крик, как камешек отчаянья,
всё катится и катится в бору.

И всё-таки я жду из тишины
(как тот актер, который знает цену
чужим словам, что он несет на сцену)
каких-то слов, которым нет цены.

Ведь у надежд всегда счастливый цвет,
надежный и таинственный немного,
особенно, когда глядишь с порога,
особенно, когда надежды нет.

Песня о солдатских сапогах

Вы слышите: грохочут сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки?
Вы поняли, куда они глядят?

Вы слышите: грохочет барабан?
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней...
Уходит взвод в туман-туман-туман...
А прошлое ясней-ясней-ясней.

А где же наше мужество, солдат,
когда мы возвращаемся назад?
Его, наверно, женщины крадут
и, как птенца, за пазуху кладут.

А где же наши женщины, дружок,
когда вступаем мы на свой порог?
Они встречают нас и вводят в дом,
но в нашем доме пахнет воровством.

А мы рукой на прошлое: вранье!
А мы с надеждой в будущее: свет!
А по полям жиреет воронье,
а по пятам война грохочет вслед.

И снова переулком – сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки...
В затылки наши круглые глядят.

Король

Б. Федорову

Во дворе, где каждый вечер всё играла радиола,
где пары танцевали, пыля,
ребята уважали очень Лёньку Королёва
и присвоили ему званье короля.

Был король, как король, всемогущ. И если другу
станет худо и вообще не повезет,
он протянет ему свою царственную руку,
свою верную руку, — и спасет.

Но однажды, когда „мессершмитты”, как вороны,
разорвали на рассвете тишину,
наш Король, как король, он кепчонку, как корону —
набекрень, и пошел на войну.

Вновь играет радиола, снова солнце в зените,
да некому оплакать его жизнь,
потому что тот король был один (уж извините),
королевой не успел обзавестись.

Но куда бы я ни шел, пусть какая ни забота
(по делам или так, погулять),
всё мне чудится, что вот за ближайшим поворотом
Короля повстречаю опять.

Потому что на войне, хоть и правда стреляют,
не для Лёньки сырая земля.
Потому что (виноват), но я Москвы не представляю
без такого, как он, короля.

Ангелы

Выходят танки из леска,
устало роют снег,
а неотступная тоска
бредет за ними вслед.

Победа нас не обошла,
да крепко обожгла.
Мы на поминках водку пьем,
да ни один не пьян.

Мы пьем напропалую
одну, за ней вторую,
пятую, десятую,
горькую десантную.

Она течет, и хоть бы черт,
ну хоть бы что — ни капельки...
Какой учет, когда течет?
А на закуску — яблоки.

На рынке не развешенные
дрожащею рукой,
подаренные женщиной,
заплаканной такой.

О ком ты тихо плакала?
Всё, знать, не обо мне,
пока я топал ангелом
в защитной простыне.

Ждала, быть может, слова,
а я стоял едва,
и я не знал ни слова,
я все забыл слова.

Слова, слова... О чем они?
И не припомнишь всех.
И яблочко моченое
упало прямо в снег.

На белом снегу
лежит оно.
Я к вам забегу
давным-давно,

как еще до войны,
как в той тишине,
когда так нужны
вы не были мне...

Первый день на передовой

Волнения не выдавая,
оглядываюсь, не расспрашивая.
Так вот она — передовая!
В ней ничего нет страшного.

Трава не выжжена, лесок не хмур,
и до поры
объявляется перекур.
Звенят комары.

Звенят, звенят
возле меня.
Летят, летят —
крови моей хотят.

Отбиваюсь в изнеможении
и вдруг попадаю в сон:
дым сражения, окружение,
гибнет, гибнет мой батальон.

А пули звенят
возле меня.
Летят, летят —
крови моей хотят.

Кричу, обессилев,
через хрипоту:
„Пропадаю!”
И к ногам осины,
весь в поту,
припадаю.

Жить хочется!
Жить хочется!
Когда же это кончится?

Мне немного лет...
гибнуть толку нет...
я ночных дозоров не выстоял...
я еще ни разу не выстрелил...

И в сопревшую листву зарываюсь
и просыпаюсь...

Я, к стволу осины прислонившись, сажу,
я в глаза товарищам гляжу-гляжу:
а что, если кто-нибудь в том сне побывал?
А что, если видели, как я воевал?

Полночный троллейбус

Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
в последний,
случайный.

Полночный троллейбус, по улице мчи,
верши по бульварам круженье,
чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
крушенье,
крушенье.

Полночный троллейбус, мне дверь отвори!
Я знаю, как в зябкую полночь
твои пассажиры — матросы твои —
приходят
на помощь.

Я с ними не раз уходил от беды,
я к ним прикасался плечами...
Как много, представьте себе, доброты
в молчанье,
в молчанье.

Полночный троллейбус плывет по Москве,
Москва, как река, затухает,
и боль, что скворчком стучала в виске,
стихает,
стихает.

Медсестра Мария

А что я сказал медсестре Марии,
когда обнимал ее?

— Ты знаешь, а вот офицерские дочки
на нас, на солдат, не глядят.

А поле клевера было под нами,
тихое, как река.

И волны клевера набегали,
и мы качались на них.

И Мария, раскинув руки,
плыла по этой реке.

И были черными и бездонными
голубые ее глаза,

И я сказал медсестре Марии,
когда наступил рассвет:

— Нет, ты представь: офицерские дочки
на нас и глядеть не хотят.

Новое утро

Не клонись-ка ты, головушка,
от невзгод и от обид.
Мама, белая голубушка,
утро новое горит.

Всё оно смывает начисто,
всё разглаживает вновь...
Отступает одиночество,
возвращается любовь.

И сладки, как в полдень пасеки,
как из детства голоса,
твои руки, твои песенки,
твои вечные глаза.

* * *

Настоящих людей так немного!
Всё вы врете, что век их настал.
Посчитайте и честно и строго,
сколько будет на каждый квартал.

Настоящих людей очень мало:
на планету — совсем ерунда,
на Россию — одна моя мама,
только что ж она может одна?

Песенка об открытой двери

Когда метель кричит как зверь —
протяжно и сердито —
не запирайте вашу дверь,
пусть будет дверь открыта.

А если ляжет дальний путь,
нелегкий путь, представьте,
дверь не забудьте распахнуть,
открытой дверь оставьте.

И, уходя, в ночной тиши
без долгих слов решайте:
огонь сосны с огнем души
в печи перемешайте.

Пусть будет теплою стена
и мягкой — скамейка...
Дверям закрытым — грош цена,
замку цена — копейка!

Песенка о Фонтанке

По Фонтанке, по Фонтанке, по Фонтанке
лодки белые холеные плывут.
На Фонтанке, на Фонтанке, на Фонтанке
ленинградцы удивленные живут.

От войны еще красуются плакаты,
и погибших еще снятся голоса.
Но давно уж — ни осады, ни блокады —
только ваши удивленные глаза.

Я — приезжий. Скромно стану в отдаленье.
Слов красивых и напрасных не скажу:
что я знаю?

Лишь на ваше удивленье
удивленными глазами погляжу.

Московский муравей

Не тридцать лет, а триста лет иду, представьте вы,
по этим древним площадям, по голубым торцам.
Мой город носит высший чин и звание Москвы,
но он навстречу всем гостям всегда выходит сам.

Иду по улицам его в рассветной тишине,
бегу по улочкам кривым (простите, города)...
Но я – московский муравей, и нет покоя мне –
так было триста лет назад и будет так всегда.

Ах, этот город, он такой, похожий на меня:
то грустен он, то весел он, но он всегда высок...
Что там за девочка в руке несет кусочек дня,
как будто завтрак в узелке мне, муравью, несет?

* * *

Часовые любви на Смоленской стоят.
Часовые любви у Никитских не спят.
Часовые любви по Петровке идут неизменно...
Часовым полагается смена.

О, великая вечная армия,
где не властны слова и рубли,
где все — рядовые: ведь маршалов нет у любви!
Пусть поход никогда ваш не кончится.
Признаю только эти войска!..
Сквозь зимы и вьюги к Москве подступает весна.

Часовые любви на Волхонке стоят.
Часовые любви на Неглинной не спят.
Часовые любви по Арбату идут неизменно...
Часовым полагается смена.

* * *

Ст. Рассадину

Мой мальчик, нанося обиды,
о чём заботятся враги?
Чтоб ты не выполз недобитый,
на их нарвавшись кулаки.

Мой мальчик, но — верны и строги —
о чём заботятся друзья?
Чтоб не нашел ты к ним дороги,
свои тревоги пронося.

И всё-таки, людьми ученый,
еще задолго до седин,
рванешь рубаху обреченно,
едва останешься один.

И вот тогда-то, одинокий,
как в зоне вечной мерзлоты,
поймешь, что все, как ты, двуноги,
и все изранены, как ты.

* * *

Дома лучше (что скрывать?),
чем на площади холодной:
здесь хоть стулья да кровать —
там — всего лишь флаг бесплодный.

Здесь, хоть беден, хоть богат,
остаюсь самым собою.
Здесь я — барин, там — солдат,
и разлука за спиною.

* * *

**Жизнь моя – странствия. Прощай! Пиши!
Мне нужно выяснить не за рубли:
широки ли пространства твоей души,
велико ль государство моей любви.**

* * *

Не пробуй этот мед: в нём ложка дегтя.
Чего не заработал — не проси.
Не плюй в колодец. Не кичись. До локтя
всего вершок — попробуй укуси.

Час утренний — делам, любви — вечерний,
раздумьям — осень, бодрости — зима...
Весь мир устроен из ограничений,
чтобы от счастья не сойти с ума.

* * *

Эта женщина такая:
ничего не говорит,
очень трудно привыкает,
очень долго не горит.

Постепенно, постепенно
поднимается, кружа
по ступеням, по ступеням
до чужого этажа.

До далекого, чужого,
до заоблачных высот...
и, прищурясь, смотрят жены,
как любить она идет,

как идет она — не шутит,
хоть моли, хоть не моли...
И уходят в норы судьбы
коммунальные мои.

* * *

Я уйду от пули, делаю отчаянный рывок.
Я снова живой на выжженном теле Крыма.
И вырастают вместо крыльев тревог
за моей человеческой спиной надежды крылья.

Васильками над бруствером, уцелевшими от огня,
склонившимися над выжившим отделением,
жизнь моя довоенная разглядывает меня
с удивлением.

До первой пули я хвастал: чего не могу посметь?
До первой пули врал я напрапалую.
Но свистнула первая пуля, кого-то накрыла смерть,
а я приготовился пулю встретить вторую.

Ребята, когда нас выплеснет из окопа четкий приказ,
не растопчите этих цветов в наступление!
Пусть синими их глазами глядит и глядит на нас
идущее за нами поколение.

* * *

Е. Рейну

Из окон корочкой несет поджаристой.
За занавесками — мельканье рук.
Здесь остановки нет, а мне — пожалуйста:
шофер в автобусе — мой лучший друг.

А кони в сумерках колышут гривами.
Автобус новенький, спеши, спеши!
Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный
в любую сторону твоей души.

Я знаю, вечером ты в платье шелковом
пойдешь по улицам гулять с другим...
Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать,
попридержи-ка их, поговорим!

Она в спецовочке, в такой промасленной,
берет немислимый такой на ней...
Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы...
Куда же гонишь ты своих коней!

Но кони в сумерках колышут гривами.
Автобус новенький спешит-спешит.
Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный
в любую сторону твоей души!

Песенка о комсомольской богине

Я смотрю на фотокарточку:
две косички, строгий взгляд,
и мальчишеская курточка,
и друзья кругом стоят.

За окном всё дождик тенькает:
там ненастье на дворе.
Но привычно пальцы тонкие
прикоснулись к кобуре.

Вот скоро дом она покинет,
вот скоро вспыхнет бой кругом,
но комсомольская богиня...
Ах, это, братцы, о другом!

На углу у старой булочной,
там, где лето пыль метет,
в синей маечке-футболочке
комсомолочка идет.

А ее коса острижена,
в парикмахерской лежит.
Лишь одно колечко рыжее
на виске ее дрожит.

И никаких богов в помине,
лишь только дела гром кругом,
но комсомольская богиня...
Ах, это, братцы, о другом!

Искала прачка клад

На дне глубокого корыта
так много лет подряд
не погребенный, не зарытый
искала прачка клад.

Корыто от прикосновенья
звенело под струну,
иплыли пальцы, розовея,
и шарили по дну.

Корыта стенки как откосы,
омытые волной.
Ей снился сын беловолосый
над этой глубиной.

и что-то очень золотое,
как в осень листопад...
И билась пена о ладони —
искала прачка клад.

До свидания, мальчики

Ах война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли —
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли, за солдатом — солдат...
До свидания, мальчики!

Мальчики,
постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат
и себя не щадите,
и всё-таки
постарайтесь вернуться назад.

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
вместо свадеб — разлуки и дым,
наши девочки платица белые
раздали сестренкам своим.
Сапоги — ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...
Вы наплюйте на сплетников, девочки.
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,

что идете войной наугад...

До свидания девочки!

Девочки,
постарайтесь вернуться назад.

* * *

На арбатском дворе — и веселье и смех.
Вот уже мостовые становятся мокрыми.
Плачьте, дети!
Умирает мартовский снег.
Мы устроим ему веселые похороны.

По кладовкам по темным поржавеют коньки,
позабывшие лыжи по углам покоробятся...
Плачьте, дети!
Из-за белой реки
скоро-скоро кузнечики к нам заторопятся.

Будет много кузнечиков. Хватит на всех.
Вы не будете, дети, гулять в одиночестве...
Плачьте, дети!
Умирает мартовский снег.
Мы ему воздадим генеральские почести.

Заиграют грачи над его головой,
грохнет лед на реке в лиловые трещины...
Но останется снежная баба вдовой...
Будьте, дети, добры и внимательны к женщине.

* * *

Не вели, старшина, чтоб была тишина.
Старшине не всё подчиняется.
Эту грустную песню
 придумала война...
Через час штыковой начинается.

Земля моя, жизнь моя, свет мой в окне...
На горе врагу улыбнусь я в огне.
Я буду улыбаться, черт меня возьми,
в самом пекле рукопашной возни.

Пусть хоть жизнь свою укорачивая,
я пойду напрямик
в пулеметное поколачиванье,
в предсмертный крик.

А если, на шаг всего опередив,
достанет меня пуля какая-нибудь,
сложите мои кулаки на груди
и улыбку мою положите на грудь.

Чтоб видели враги мои и знали бы впредь,
как счастлив я за землю мою умереть!

...А пока в атаку не сигналила медь,
не мешай, старшина, эту песню допеть.
Пусть хоть что судьбой напроорочится:
хоть славная смерть,
хоть геройская смерть —
умирать всё равно, брат, не хочется.

* * *

О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой,
когда я шагнул с гитарой, растерянный, но живой?
Как будто шагнул я со сцены в полночный

московский уют,
где старым арбатским ребятам бесплатно судьбу
раздают.

По-моему, всё распрекрасно, и нет для печали причин,
и грустные те комиссары идут по Москве как один,
и нету, и нету погибших среди старых арбатских ребят,
лишь те, кому нужно, уснули, но те, кому надо, не спят.

Пусть память — нелегкая служба, но всё повидала Москва,
и старым арбатским ребятам смешны утешений слова.

* * *

Горит пламя, не чадит.
Надолго ли хватит?
Она меня не щадит —
тратит меня, тратит.

Быть недолго молодым,
скоро срок догонит.
Неразменным золотым
покачусь с ладони.

Потемнят меня ветра,
дождичком окатит...
А она щедра, щедра —
надолго ли хватит?

* * *

Сто раз закат краснел, рассвет синел,
сто раз я клял тебя, песок моздокский,
пока ты жег насквозь мою шинель
и блиндажа жевал сухие доски.

А я жевал такие сухари!
Они хрустели на зубах, хрустели...
А мы шинели рваные расстелим —
и ну жевать. Такие сухари!

Их десять лет сушили, не соврать,
да ты еще их выбелил, песочек...
А мы, бывало, их в воде размочим —
и ну жевать, и крошек не собрать.

Сыпь пощедрей, товарищ старшина!
Пируем — и солдаты и начальство...
А пули? Пули были. Били часто.
Да что о них рассказывать — война.

Тамань

Год сорок первый. Зябкий туман.
Уходят последние солдаты в Тамань.

А ему подписан пулей приговор.
Он лежит у кромки береговой,
он лежит на самой передовой:
ногами — в песок, к волне — головой.

Грязная волна наползет едва —
приподнимется слегка голова;
вспять волну прилив отнесет —
ткнется устало голова в песок.

Эй, волна! Перестань, не шамань:
не заманишь парня в Тамань...

Отучило время меня дома сидеть.
Научило время меня в прорезь глядеть.
Скоро ли — не скоро, на том ли берегу
я впервые выстрелил на бегу.

Отучило время от доброты:
атака, атака, охрипшие рты...
Вот и я гостинцы раздаю-раздаю...
Ты прости меня, мама, за щедрость мою.

* * *

На мне костюмчик серый-серый,
совсем как серая шинель.
И выхожу я на эстраду
и тихим голосом пою.

А люди в зале плачут-плачут —
не потому, что славен я,
и не меня они жалеют,
а им себя, наверно, жаль.

Жалейте, милые, жалейте,
пока жалеется еще,
пока в руке моей гитара,
а не тяжелый автомат.

Жалейте, будто бы в дорогу
вы провожаете меня...
На мне костюмчик серый-серый.
Он весь — как серая шинель.

* * *

Магическое „два”. Его высоты,
его глубины... Как мне превозмочь?
Два соболя, два сокола, две сойки,
закаты и рассветы, день и ночь,
две матери, которым верю слепо,
две женщины, и, значит, два пути,
два вероятных выхода, два неба —
там, наверху, и у меня в груди.
И, залитый морями голубыми,
расколотый кружится шар земной...
... а мальчики торгуют голубями
по-прежнему. На площади Сенной.

Песенка про Черного кота

Со двора подъезд известный
под названьем “черный ход”.
В том подъезде, как в поместье,
проживает Черный кот.

Он в усы усмешку прячет,
темнота ему как щит.
Все коты поют и плачут —
этот Черный кот молчит.

Он и звука не проронит —
только ест и только пьет,
грязный пол когтями тронет
как по горлу проскребет.

Он давно мышей не ловит,
усмехается в усы,
ловит нас на честном слове,
на кусочке колбасы.

Он не требует, не просит,
желтый глаз его горит,
каждый сам ему выносит
и спасибо говорит.

Оттого-то, знать, не весел
дом, в котором мы живем...
Надо б лампочку повесить —
денег всё не соберем.

* * *

Б. Ахмадулиной

Рифмы, милые мои,
баловни мои, горячки!
Вы – как будто соловьи
из бессонниц и горячки,
вы – как музыка за мной,
умопомраченья вроде,
вы – как будто шар земной,
вскрикнувший на повороте.

С вами я, как тот богач,
и куражусь и чудачу,
но из всяких неудач
выбираю вам удачу..
Я как всадник на коне
со склоненной головою...

Господи, легко ли мне?
Вам-то хорошо ль со мною?

* * *

Раскрываю страницы ладоней,
молчаливых ладоней твоих,
что-то светлое и молодое,
удивленное смотрит из них.

Я листаю страницы. Маячит
пережитое. Я как в плену.
Вот какой-то испуганный мальчик
сам с собою играет в войну.

Вот какая-то женщина плачет —
очень падают слезы в цене,
и какой-то задумчивый мальчик
днем и ночью идет по войне.

Я листаю страницы, листаю,
исступленно листаю листы:
пережитого громкие стаи,
как синицы, летят на кусты.

И уже не найти человека,
кто не понял бы вдруг на заре,
что погода двадцатого века
началась на арбатском дворе.

О, ладони твои всё умеют,
всё, что было, читаю по ним,
и, когда мои губы немеют,
припадаю к ладоням твоим,
припадаю к ладоням горячим,
в синих жилках веселых тону...

Кто там плачет?
Никто там не плачет...
Просто дети играют в войну!

Три сестры

Опустите, пожалуйста, синие шторы.
Медсестра, всяких снадобий мне не готовь.
Вот стоят у постели моей кредиторы
молчаливые: Вера, Надежда, Любовь.

Раскошелиться б сыну недолгого века,
да пусты кошельки упадают с руки...
— Не грусти, не печалуйся, о моя Вера, —
остаются еще у тебя должники!

И еще я скажу и бессильно и нежно,
две руки виновато губами лоя:
— Не грусти, не печалуйся, мать Надежда, —
есть еще на земле у тебя сыновья!

Протяну я любви ладони пустые,
покаянный услышу я голос ее:
— Не грусти, не печалуйся, память не стынет,
я себя раздарила во имя твое.
Но какие бы руки тебя ни ласкали,
как бы пламень тебя ни сжигал неземной,
в троекратном размере болтливость людская
за тебя расплатилась... Ты чист предо мной!

Чистый-чистый лежу я в наплывах рассветных,
белым флагом струится на пол простыня...
Три сестры, три жены, три судьи милосердных
открывают бессрочный кредит для меня.

Бумажный солдатик

Один солдат на свете жил,
красивый и отважный,
но он игрушкой детской был:
ведь был солдат бумажный.

Он переделать мир хотел,
чтоб был счастливым каждый,
а сам на ниточке висел:
ведь был солдат бумажный.

Он был бы рад — в огонь и в дым,
за вас погибнуть дважды,
но потешались вы над ним:
ведь был солдат бумажный.

Не доверяли вы ему
своих секретов важных,
а почему?
А потому,
что был солдат бумажный.

В огонь? Ну что ж, иди! Идешь?
И он шагнул однажды,
и там сгорел он ни за грош:
ведь был солдат бумажный.

* * *

О. Батраковой

Мне нужно на кого-нибудь молиться.
Подумайте, простому муравью
вдруг захотелось в ноженьки валиться,
поверить в очарованность свою!

И муравья тогда покой покинул,
всё показалось будничным ему,
и муравей создал себе богиню
по образу и духу своему.

И в день седьмой, в какое-то мгновенье,
она возникла из ночных огней
без всякого небесного знаменья...
Пальтишко было легкое на ней.

Всё позабыв — и радости, и муки,
он двери распахнул в свое жильё
и целовал обветренные руки
и старенькие туфельки ее.

И тени их качались на пороге.
безмолвный разговор они вели,
красивые и мудрые, как боги,
и грустные, как жители земли.

* * *

О. Батраковой

...И когда под вечер над тобою
журавли охрипшие летят,
ситцевые женщины толпою
сходятся — затмить тебя хотят.

Молчаливы. Ко всему готовы.
Окружают, красотой соря...
Ситцевые, ситцевые, что вы!
Вы с ума сошли: она ж — своя!

Там, за поворотом Малой Бронной,
где окно распахнуто на юг,
за ее испуганные брови
десять пар непуганых дают.

Тех, которые ее любили,
навсегда связала с ней судьба.
И за голубями голубыми
больше не уходят ястреба.

Вот и мне не вырваться из плена.
Так кружиться мне, и так мне жить...

Я – алхимик.
Ты – моя проблема
вечная...
тебя не разрешить.

Джазисты

Ст. Рассадину

Джазисты уходили в ополчение,
цивильного не скинув облаченья.
Тромбонов и чечеток короли
в солдаты необученные шли.

Кларнетов принцы, словно принцы крови,
магистры саксофонов шли, и, кроме,
шли барабанных палок колдуны
скрипучими подмостками войны.

На смену всем оставленным заботам
единственная зрела впереди,
и скрипачи ложились к пулеметам,
и пулеметы бились на груди.

Но что поделать, что поделать, если
атаки были в моде, а не песни?
Кто мог тогда их мужество учесть,
когда им гибнуть выпадала честь?

Едва затихли первые сраженья,
они рядком лежали. Без движенья.
В костюмах предвоенного шитья,
как будто притворяясь и шутя.

Редели их ряды и убывали.
Их убивали, их позабывали.
И всё-таки под музыку земли
их в поминанье светлое внесли,

когда на пяточке земного шара
под майский марш, торжественный такой,
отбила каблуки, танцуя, пара
за упокой их душ. За упокой.

Арбатский дворик

...А годы проходят, как песни.
Иначе на мир я гляжу.
Во дворике этом мне тесно,
и я из него ухожу.

Ни почестей и ни богатства
для дальних дорог не прошу,
но маленький дворик арбатский
с собой уношу, уношу.

В мешке вещевом и заплечном
лежит в уголке
 небольшой,
не слывший, как я, безупречным
тот двор с человеческой душой.

Сильнее я с ним и добрее.
Что нужно еще? Ничего.
Я руки озябшие грею
о теплые камни его.

Живописцы

Ю. Васильеву

Живописцы, окуните ваши кисти
в суету дворов арбатских и в зарю,
чтобы были ваши кисти словно листья.
Словно листья, словно листья к ноябрю.

Окуните ваши кисти в голубое,
по традиции забытой городской,
нарисуйте и прилежно и с любовью,
как с любовью мы проходим по Тверской.

Мостовая пусть качнется, как очнется!
Пусть начнется, что еще не началось!
Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется...
Что гадать нам: удалось — не удалось?

Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы,
наше лето, нашу зиму и весну...
Ничего, что мы — чужие. Вы рисуйте!
Я потом, что непонятно, объясню.

Песенка об Арбате

Ты течешь, как река. Странное название!
И прозрачен асфальт, как в реке вода.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое призвание.
Ты — и радость моя, и моя беда.

Пешеходы твои — люди не великие,
каблучками стучат — по делам спешат.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты — моя религия,
мостовые твои подо мной лежат.

От любви твоей вовсе не излечишься,
сорок тысяч других мостовых любя.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое отечество,
никогда до конца не пройти тебя!

* * *

Над синей улицей портовой
всю ночь сияют маяки.
Откинув ленточки фартово,
всю ночь гуляют моряки.

Кричат над городом сирены,
и птицы крыльями шуршат,
и припортовые царевны
к ребятам временным спешат.

Ведь завтра, может быть, проститься
придут ребята, да не те...
Ах, море – синяя водица!
Ах, голубая канитель!

Его затихнуть не умолишь –
взметнутся щепками суда.
Земля надежнее, чем море, –
так почему же вы туда?

Волна соленая задушит –
ее попробуй упросить...
Эх, если б вам служить на суше
да только б ленточки носить!

* * *

А мы швейцару: „Отворите двери!
У нас компания веселая, большая,
приготовьте нам отдельный кабинет!”

А Люба смотрит: что за красота!
А я гляжу: на ней такая брошка!
Хоть напрокат она взята,
пускай потешится немножко.
А Любе вслед глядит один брюнет.

А нам плевать, и мы вразвалочку,
покинув раздевалочку,
идем себе в отдельный кабинет.

На нас глядят бездельники и шлюхи.
Пусть наши женщины не в жемчуге,
слушайте, пора уже,
кончайте ваши „ах” на сто минут.

Здесь тряпками попахивает так...
Здесь смотрят друг на друга сквозь червонцы...
Я не любитель всяких драк,
но мне сказать ему придется,

что я ему попорчу весь уют,
что наши девушки за денежки,
представь себе, паскудина брюнет,
они себя не продают.

Каравай

Вы видели, щиток приоткрывая,
в задумчивой и душевной глубине
прищуренные глазки каравая,
когда он сам с собой наедине?

Когда очнуться не хватает мочи,
когда румяный край — под цвет зари...
О чем он думает? О чем бормочет,
ленивые глотая пузыри?

А в нем живут сгоревшие поленья,
старанья мастериц и мастеров.
Он, как последнее стихотворенье,
и добр, и откровенен, и суров.

И задыхается на белом блюде
от радости рожденья своего...
И кланяются караваяю люди
и ломтики уносят от него.

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ





* * *

Разлюбила меня женщина и ушла не спеша.
Кто знает, когда доведется опять с нею встретиться.
А я-то предполагал, что земля — это шар...
Не с кем мне было тогда посоветоваться.

Старый пиджак

Я много лет пиджак ношу.
Давно потерялся и не нов он.
И я зову к себе портного
и перешить пиджак прошу.

Я говорю ему шутя:
„Перекроите всё иначе,
сулит мне новые удачи
искусство кройки и шитья”.

Я пошутил. А он пиджак
серьезно так перешивает,
а сам-то всё переживает:
вдруг что не так. Такой чудак.

Одна забота наяву
в его усердье молчаливом,
чтобы я выглядел счастливым
в том пиджаке. Пока живу.

Он представляет это так:
едва лишь я пиджак примерю —
опять в твою любовь поверю...
Как бы не так. Такой чудак.

* * *

Т. Венгеровой

Тьмою здесь всё занавешено
И тишина, как на дне...
Ваше величество женщина,
да неужели — ко мне?

Тусклое здесь электричество,
с крыши сочится вода.
Женщина, ваше величество,
как вы решились сюда?

О, ваш приход — как пожарище.
Дымно, и трудно дышать...
Ну, заходите, пожалуйста.
Что ж на пороге стоять?

Кто вы такая? Откуда вы?!
Ах, я смешной человек...
Просто вы дверь перепутали,
улицу, город и век.

Старый дом

Дом предназначен на слом. Извините,
если господствуют пыль в нем и мрак.
Вы в колокольчик уже не звоните.
Двери распахнуты. Можно и так.

Всё здесь в прошедшем, в минувшем и бывшем.
Ночь неспроста тишину созвала.
Серые мыши, печальные мыши
все до единой ушли со двора.

Где-то теперь собралось их кочевье?
Дом предназначен на слом. Но сквозь тьму,
полно таинственного значенья,
что-то еще шелестит по нему.

Мел осыпается. Ставенька стонет.
Двери надеются на визит.
И удивленно качается столик.
И фотокарточка чья-то висит.

И, припорошенный душною пылью,
помня еще о величье своем,
дом шевелит пожелтевшие крылья
старых газет, поселившихся в нем.

Дом предназначен на слом. Значит, кроме
не улыбнется ему ничего.

Что ж мы с тобой позабыли в том доме?
Или не всё унесли из него?

Может быть, это ошибка? А если
это ошибка? А если — она?..

Ну-ка, гурьбой соберемся в подъезде,
где, замирая, звенит тишина!

Ну-ка, взбежим по ступенькам знакомым!

Ну-ка, для успокоенья души

крикнем, как прежде: „Вы дома?.. Вы дома?!”

Двери распахнуты. И ни души.

Черный „мессер”

Вот уже который месяц
и уже который год
прилетает черный „мессер” —
спать спокойно не дает.

Он в окно мое влетает,
он по комнате кружит,
он как старый шмель рыдает,
мухой пойманной жужжит.

Грустный летчик как курортник...
Его темные очки
прикрывают, как намордник,
его томные зрачки.

Каждый вечер, каждый вечер
у меня штурвал в руке,
я лечу к нему навстречу
в довоенном „ястребке”.

Каждый вечер в лунном свете
торжествует мощь моя:
я, наверное, бессмертен —
он сдастся, а не я.

Он пробоинами мечен,
он сгорает, подожжен,
но приходит новый вечер,
и опять кружится он.

И опять я вылетаю,
побеждаю, и опять
вылетаю, побеждаю...
Сколько ж можно побеждать?

* * *

**Я жалею собак с нашей улицы:
очень грустно сидеть на цепи...
Все они белозубы и умницы,
только им не хватает степи!**

Осень в Кахетии

Вдруг возник осенний ветер, и на землю он упал.
Красный ястреб в листьях красных словно в краске
утопал.

Были листья странно скроены, похожие на лица, —
сумасшедшие закройщики кроили эти листья,
озорные, заводные посшивали их швеи...
Листья падали на палевые пальчики свои.

Называлось это просто: отлетевшая листва.
С ней случалось это часто по традиции по давней.
Было поровну и в меру в ней улыбки и страдания,
торжества и увяданья, колдовства и мастерства.

И у самого порога, где кончается дорога,
веселился, и кружился, и плясал хмельной немного
лист осенний, лист багряный, лист с нелепою резьбой...
В час, когда печальный ястреб вылетает на разбой.

По Смоленской дороге

По Смоленской дороге — леса, леса, леса.
По Смоленской дороге — столбы, столбы,
столбы.

Над Смоленской дорогою, как твои глаза, —
две вечерних звезды — голубых моих судьбы.

По Смоленской дороге — метель в лицо, в лицо,
всё нас из дому гонят дела, дела, дела.
Может, будь понадежнее рук твоих кольцо —
покороче б, наверно, дорога мне легла.

По Смоленской дороге — леса, леса, леса.
По Смоленской дороге — столбы гудят, гудят.
На дорогу Смоленскую, как твои глаза,
две холодных звезды голубых глядят, глядят.

Дежурный по апрелю

Ах, какие удивительные ночи!
Только мама моя в грусти и тревоге:
– Что же ты гуляешь, мой сыночек,
одинокий,
одинокий? –
Из конца в конец апреля путь держу я.
Стали звезды и круглее и добрее...
– Мама, мама, это я дежурю,
я – дежурный
по апрелю!

– Мой сыночек, вспоминаю всё, что было,
стали грустными глаза твои, сыночек...
Может быть, она тебя забыла,
знать не хочет?
Знать не хочет? –
Из конца в конец апреля путь держу я.
Стали звезды и круглее и добрее...
– Что ты, мама! Просто я дежурю,
я – дежурный
по апрелю...

О кузнечиках

Два кузнечика зеленых в траве, насупившись, сидят.
Над ними синие туманы во все стороны летят.
Под ними красные цветочки и золотые лопухи...
Два кузнечика зеленых пишут белые стихи.

Они перышки макают в облака и молоко,
чтобы белые их строчки было видно далеко,
и в затылках дружно чешут, каждый лапкой шевелит,
Но заглядывать в работу один другому не велит.

К ним бежит букашка божья, бедной барышней бежит,
но у них к любви и ласкам что-то сердце не лежит.
К ним и прочие соблазны подбираются, тихи,
но кузнечики не видят — пишут белые стихи.

Снег их бьет, жара их мучит, мелкий дождичек кропит,
шар земной на повороте отвратительно скрипит...
Но меж летом и зимою, между счастьем и бедой
прорастает неизменно вещей смысл работы той,
и сквозь всякие обиды пробиваются в века
хлеб (поэма), жизнь (поэма), ветка тополя (строка)...

* * *

Когда известный русский царь в своей поддевичке
короткой,
усмешкой странной на губах и журавлиною
походкой
напоминая давний свой портрет в ореховом
овале,
входил в присутствие, то все присутствующие
вставали.

В присутствии вставали все, хоть на царе была
поддевка.
Неважно, что таилось в ней: дань старине или
издевка.
Не думая, как взглянем мы на них — с надеждой
или болью, —
они вставали, словно лес, и ран не посыпали солью.

Присутствующие тех лет, предшествующих тем
и прочих,
не оставлявшие следов достойных у порогов
отчих,
стремятся в райские врата, все гимны скопом
прооравши,
киркой, лопатой и пером ни разу рук не замаравши.

Песенка о московских ополченцах

Над нашими домами разносится набат,
и затемненье улицы одело.

Ты научи любви, Арбат,
а дальше — дальше наше дело.

Гляжу на двор арбатский, надежды не тая,
вся жизнь моя встает перед глазами.

Прощай, Москва, душа твоя
всегда, всегда пребудет с нами!

Расписки за винтовки с нас взяли писаря,
но долю себе выбрали мы сами...

Прощай, Москва, душа твоя
всегда, всегда пребудет с нами!

Гитара

Усталость ноги едва волочит,
гитара корчится под рукой.
Надежда голову мне морочит,
а дождь сентябрьский льет такой...

Мы из компании. Мне привычны
и дождь и ветер, и дождь и ты.
Пускай болтают, что не типичны
в двадцатом веке твои черты.

Пусть друг недолгий в нас камень кинет,
пускай завистник свое кричит —
моя гитара меня обнимет,
интеллигентно она смолчит.

Тебе не первой, тебе не первой
предъявлен веком нелегкий счет.
Моя гитара, мой спутник верный,
давай хоть дождь смахну со щек.

* * *

Л. Лужиной

Непокорная голубая волна
всё течет, всё течет, не кончается.
Море Черное, словно чаша вина,
на ладони моей всё качается.

Я всё думаю об одном, об одном,
словно берег надежды покинувши.
Море Черное, словно чашу с вином,
пью во имя твое, запрокинувши.

Неизменная среди всяких морей,
как расстаться с тобой, не отчаяться?
Море Черное на ладони моей
как баркас уходящий качается.

Песенка веселого солдата

Возьму шинель и вещмешок, и каску,
в защитную окрашенные краску.
Ударю шаг по улицам горбатым...
Как просто быть солдатом, солдатом.

Забуду все домашние заботы.
Не надо ни зарплаты, ни работы.
Иду себе, играю автоматом...
Как просто быть солдатом, солдатом.

А если что не так — не наше дело:
как говорится, „родина велела”.
Как славно быть ни в чём не виноватым
совсем простым солдатом, солдатом.

* * *

В саду Нескучном тишина.
Встает рассвет светло и строго.
А женщину зовут Дорога...
Какая дальняя она!

Песенка о московском трамвае

Раскрасавец двадцатых годов,
позабывший про старость и раны,
он и нынче, представьте, готов
нам служить неустанно.

Он когда-то гремел и блистал,
на него любоваться ходили.
А потом он устал и отстал,
и его позабыли.

По проспектам бежать не дают,
в переулках дожить разрешают,
громких песен о нём не поют,
со смешком провожают.

Но по улицам, через мосты
он бежит, дребезжит и бодрится.
И с горячей ладони Москвы
всё сойти не решится.

* * *

Допеты все песни. И точка.
И хватит, и хватит о том.
Ну, может, какая-то строчка
осталась еще за бортом.

Над нею кружатся колеса,
но, даже когда не свернуть,
наивна и простоволоса,
она еще жаждет сверкнуть.

Надейся, надейся, голубка,
свои паруса пораскинь,
ты, хрупкая, словно скорлупка,
по этим морям городским.

Куда тебя волны ни бросят,
на помощь теперь не зови.
С тебя ничего уж не спросят:
как хочется — так и плыви,
подобна мгновенному снимку,
где полночь и двор в серебре
и мальчик с гитарой в обнимку
на этом арбатском дворе.

Песенка о пехоте

Простите пехоте,
что так неразумна бывает она:
всегда мы уходим,
когда над землею бушует весна.
И шагом неверным
по лестничке шаткой (спасения нет)...
Лишь белые вербы,
как белые сестры, глядят тебе вслед.

Не верьте погоде,
когда затяжные дожди она льет.
Не верьте пехоте,
когда она бравые песни поет.
Не верьте, не верьте,
когда по садам закричат соловьи:
у жизни и смерти
еще не окончены счеты свои.

Нас время учило:
живи по-походному, дверь отворя...
Товарищ мужчина,
а всё же заманчива доля твоя:
весь век ты в походе,
и только одно отрывает от сна:
чего ж мы уходим,
когда над землею бушует весна?

* * *

Всю ночь кричали петухи
и шеями мотали,
как будто новые стихи,
закрыв глаза, читали.

Но было что-то в крике том
от едкой той кручины,
когда, согнувшись, входят в дом
постылые мужчины.

И был тот крик далек-далек
и падал так же мимо,
как глядят, глядя в потолок,
чужих и нелюбимых.

Когда ласкать уже невмочь
и отказаться трудно...
И потому всю ночь, всю ночь
не наступало
утро.

Шарманка-шарлатанка

Е. Евтушенко

Шарманка-шарлатанка, как сладко ты поешь!
Шарманка-шарлатанка, куда меня зовешь?
Шагаю еле-еле, вершок за пять минут.
Ну как дойти до цели, когда ботинки жмут?

Работа есть работа. Работа есть всегда.
Хватило б только пота на все мои года.
Расплата за ошибки – она ведь тоже труд.
Хватило бы улыбки, когда под ребра бьют.

Часики

Купил часы на браслетке я.
Ты прощай, моя зарплата последняя.
Вижу слезы жены — нету в том моей вины:
это в дверь постучались костяшки войны.

А часики тикают, тикают, тикают,
тикают ночи и дни,
и тихую, тихую, тихую, тихую
жизнь мне пророчат они.

Вот закончилось, значит, сражение.
Вот лежу я в траве без движения.
Голова моя в огне, и браслетка при мне,
а часы как чужие стучат в стороне...

Всё тикают, тикают, тикают, тикают,
тикают ночи и дни,
и тихую, тихую, тихую, тихую
жизнь мне пророчат они.

* * *

Шла война к тому Берлину,
шел солдат на тот Берлин.
Матушка, не плачь по сыну:
у тебя счастливый сын.

Шел не медленно, не быстро,
не жалел солдатских ног.
Матушка, ударил выстрел,
покачнулся твой сынок.

Опрокинулся на спину
и застыл среди осин...
Матушка, поплачь по сыну:
у тебя счастливый сын.

Чудесный вальс

Ю. Левитанскому

Музыкант в лесу под деревом наигрывает вальс.
Он наигрывает вальс то ласково, то страстно.
Что касается меня, то я опять гляжу на вас,
а вы глядите на него, а он глядит в пространство.

Целый век играет музыка. Затянулся наш пикник.
Тот пикник, где пьют и плачут, любят и бросают.
Музыкант приник губами к флейте. Я бы к вам приник!
Но вы, наверно, тот родник, который не спасает.

А музыкант играет вальс. И он не видит ничего.
Он стоит, к стволу березовому прислонясь плечами.
И березовые ветки вместо пальцев у него,
а глаза его березовые строги и печальны.

А перед ним стоит сосна, вся в ожидании весны.
А музыкант вращается в землю... Звуки вальса льются...
И его худые ноги как будто корни той сосны —
они в земле переплетаются, никак не расплетутся.

Целый век играет музыка. Затянулся наш роман.
Он затянулся в узелок, горит он — не сгорает...
Ну давайте ж успокоимся! Разойдемся по домам!..
Но вы глядите на него... А музыкант играет.

В Барабанном переулке

В Барабанном переулке барабанщики живут.
Поутру они как встанут, барабаны как возьмут,
как ударят в барабаны, двери настежь отворя...
Где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?

В Барабанном переулке барабанщиц нет, хоть плачь.
Лишь грохочут барабаны ненасытные, хоть прячь.
То ли утренние зори, то ль вечерняя заря...
Где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?

Барабанщик пестрый бантик к барабану привязал,
барабану бить побудку, как по буквам, приказал
и пошел по переулку, что-то в сердце затая...
Где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?

А в соседнем переулке барабанщицы живут
и, конечно, в переулке очень добрыми слывут,
и за ними ведь не надо отправляться за моря...
Где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?!

Александр Сергеевич

С. П. Щипачеву

Не представляю Пушкина без падающего снега,
бронзового Пушкина, что в плащ укрыт.
Когда снежинки белые посыплются с неба,
мне кажется, что бронза тихо звенит.

Не представляю родины без этого звона.
В сердце ее он успел врасти,
как его поношенный сюртук зеленый,
железная трость и перо — в горсти.

Звени, звени, бронза. Вот так и согреешься.
Падайте, снежинки, на плечи ему...
У тех — всё утечи, у этих — всё зрелища,
а Александра Сергеевича ждут в том дому.

И пока, на славу устав надеяться,
мы к благополучию спешим нелегко,
там гулять готовятся господа гвардейцы,
и к столу скликает „Вдова Клико”,

там напропалую, как перед всем светом,
как перед любовью — всегда правы...
Что ж мы осторожничаем? Мудрость не в этом.
Со своим веком можно ль на „вы”?

По Пушкинской площади плещут страсти,
трамвайные жаворонки, грех и смех...
Да не суетитесь вы! Не в этом счастье...
Александр Сергеич помнит про всех.

Отрада

В будни нашего отряда,
в нашу окопную семью
девочка по имени Отрада
принесла улыбку свою.

И откуда на переднем крае,
где даже земля сожжена,
тонких рук доверчивость такая
и улыбки такая тишина?

Пусть, пока мы шагом тяжелым
проходим по улице в бой,
редкие счастливые жены
над ее злословят судьбой.

Ты клянись, клянись, моя рота,
самой высшей клятвой войны:
перед девочкой с Южного фронта
нет в нас ни грамма вины.

И всяких разговоров отрава,
заливайся воронкою вслед...
Мы идем на Запад, Отрада,
а греха перед пулями нет.

Песенка про дураков

Вот так и ведется на нашем веку:
на каждый прилив по отливу,
на каждого умного по дураку,
всё поровну, всё справедливо.

Но принцип такой дуракам не с руки:
с любых расстояний их видно.
Кричат дуракам: „Дураки! Дураки!..”
А это им очень обидно.

И чтоб не краснеть за себя дураку,
чтоб каждый был выделен, каждый,
на каждого умного по ярлыку
повешено было однажды.

Давно в обиходе у нас ярлыки
по фунту на грошик на медный.
И умным кричат: „Дураки! Дураки!”
А вот дураки незаметны.

* * *

Когда затихают оркестры Земли
и все музыканты ложатся в постели,
по Сивцеву Вражку проходит шарманка —
смешной, отставной, одноногий солдат.

Представьте себе: от ворот до ворот,
в ночи наши жесткие души тревожа,
по Сивцеву Вражку проходит шарманка,
когда затихают оркестры Земли.

* * *

Земля изрыта вкривь и вкось.
Ее, сквозь выстрелы и пенье,
я спрашиваю: „Как терпенье?
Хватает? Не оборвалось —
выслушивать все наши бредни
о том, кто первый, кто последний?“

Она мне шепчет горячо:
„Я вас жалею, дурачье.
Пока вы топчетесь в крови,
пока друг другу глотки рвете,
я вся в тревоге и в заботе.
Изнемогаю от любви.

Зерно спалите — морем трав
взойду над мором и разрухой,
чтоб было чем наполнить брюхо,
покуда спорите, кто прав...”

Мы все — трибуны, смельчаки,
все для свершений народились,
а для нее — озорники,
что попросту от рук отбились.

Мы для нее как детвора,
что средь двора друг друга валит
и всяк свои игрушки хвалит...
Какая глупая игра!

Музыка

Симону Чиковани

Вот ноты звонкие органа
то порознь вступают, то вдвоем,
и шелковые петельки аркана
на горле стягиваются моем.

И музыка передо мной танцует гибко,
И оживает всё до самых мелочей:
пылинки виноватая улыбка
так красит глубину ее очей!

Ночной комар, как офицер гусарский, тонок,
и женщина какая-то стоит,
прижав к груди стихов каких-то томик,
и на колени падает старик,

и каждый жест велик, как расстояние,
и веточка умершая жива, жива...
И стыдно мне за мелкие мои старанья
и за непоправимые слова.

...Вот сила музыки. Едва ли
поспоришь с ней бездумно и легко,
как будто трубы медные зазвали
куда-то горячо и далеко...

**И музыки стремительное тело
плывет, кричит неведомо кому:
„Куда вы все?! Да разве в этом дело?!”
А в чем оно? Зачем оно? К чему?!!**

...Вот черт, как ничего не надоело!

* * *

В чаду кварталов городских,
среди несметных толп людских
на полдороге к раю
звучит какая-то струна,
но чья она, о чем она,
кто музыкант — не знаю.

Кричит какой-то соловей
отличных городских кровей,
как мальчик, откровенно:
„Какое счастье — смерти нет!
Есть только тьма и только свет —
всегда попеременно”.

Столетия строгого дитя,
он понимает не шутя,
в значении высоком:
вот это — дверь, а там — порог,
за ним — толпа, над ней — пророк
и слово — за пророком.

Как прост меж тьмой и светом спор!
И счастлив я, что с давних пор

всё это принимаю.
Хотя, куда ты ни взгляни,
кругом пророчества одни,
а кто пророк — не знаю.

Главная песенка

Наверное, самую лучшую
на этой земной стороне
хожу я и песенку слушаю —
она шевельнулась во мне.

Она еще очень неспетая.
Она зелена, как трава.
Но чудится музыка светлая,
и строго ложатся слова.

Сквозь время, что мною не пройдено,
сквозь смех наш короткий и плач
я слышу: выводит мелодию
какой-то грядущий трубач.

Легко, необычно и весело
кружит над скрещеньем дорог
та самая главная песенка,
которую спеть я не смог.

Ночной разговор

– Мой конь притомился. Стоптались мои
башмаки.

Куда же мне ехать? Скажите мне, будьте добры.

– Вдоль Красной реки, моя радость, вдоль
Красной реки,
до Синей горы, моя радость, до Синей горы.

– А как мне проехать туда? Притомился мой конь.
Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда?

– На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь,
езжай на огонь, моя радость, найдешь без труда.

– А где же тот ясный огонь? Почему не горит?
Сто лет подпираю я небо ночное плечом...

– Фонарщик был должен зажечь, да, наверное, спит,
фонарщик-то спит, моя радость... А я ни при чем.

И снова он едет один без дороги во тьму.

Куда же он едет, ведь ночь подступает к глазам!..

– Ты что потерял, моя радость? – кричу я ему.

И он отвечает: – Ах, если б я знал это сам.

Старый король

В поход на чужую страну собирался король.
Ему королева мешок сухарей засушила
и старую мантию так аккуратно зашила,
дала ему пачку махорки и в тряпочке соль.

И руки свои королю положила на грудь,
сказала ему, обласкав его взором лучистым:
„Получше их бей, а не то прослывешь пацифистом,
и пряников сладких отнять у врага не забудь!”

И видит король — его войско стоит средь двора:
пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор.
Сказал им король: „Не страшны нам ни пресса, ни ветер!
Врага мы побьем и с победой придем, и ура!”

И вот отгремело прощальных речей торжество.
В походе король свою армию переиначил:
веселых солдат интендантами сразу назначил,
а грустных оставил в солдатах — авось ничего.

Представьте себе, наступили победные дни.
Пять грустных солдат не вернулись из схватки военной,
ефрейтор, морально нестойкий, женился на пленной,
но пряников целый мешок захватили они.

**Играйте, оркестры! Звучите, и песни и смех!
Минутной печали не стоит, друзья, предаваться:
ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться,
и пряников, кстати, всегда не хватает на всех.**

Стихи без названия

Оле

1

Вся земля, вся планета — сплошное „туда”.
Как струна, дорога звонка и туга.
Все, куда бы ни ехали, только — туда,
и никто не сюда. Все — туда и туда.

Остаюсь я один. Вот так. Остаюсь.
Но смеюсь (я признаться боюсь, что боюсь).
Сам себя осуждаю, корю. И курю.
Вдруг какая-то женщина (сердце горит)...
— Вы куда?! — удивленно я ей говорю.
— Я сюда... — так влюбленно она говорит.

„Сумасшедшая! — думаю. — Вот ерунда...
Как же можно „сюда”, когда нужно — „туда”?!”

2

Строгая женщина в строгих очках
мне рассказывает о сверчках,
о том, как они свои скрипки
на протянутых носят руках,
о том, как они понемногу,

едва за лесами забрезжит зима,
берут свои скрипки с собою в дорогу
и являются в наши дома.

Мы берем их пальто, приглашаем к столу
и признательные расточаем улыбки,
но они очень скромно садятся в углу,
извлекают свои допотопные скрипки,
расправляют помятые сюртучки,
поднимают над головами смычки,
распрямляют свои вдохновенные усики...
Что за дом, если в нем не пригреты сверчки
и не слышно их музыки!...

Строгая женщина щурится из-под очков,
по столу громоздит угощенье...
Вот и я приглашаю заезжих сверчков
за приличное вознагражденье.
Я помятые им вручаю рубли,
их рассаживаю по чину и званию,
и играют они вечный вальс по названию:
„Может быть, наконец, повезет мне в любви...”

3

Я люблю эту женщину. Очень люблю.
Керамический конь увезет нас постранствовать,
будет нас на ухабах трясти и подбрасывать...
Я в Тарусе ей кружев старинных куплю.

Между прочим, Таруса стоит над Окой.
Там торгуют в базарные дни земляникою,
не клубникою, а земляникою, дикою...
Вы, конечно, еще не встречали такой.

Эту женщину я от тревог излечу
и себя отучу от сомнений и слабости,
и совсем не за радости и не за сладости
я награду потом от нее получу.

Между прочим, земля околдует меня
и ее и окружит людьми и деревьями,
и, наверно, уже за десятой деревнею
с этой женщиной мы потеряем коня.

Ах, как гладок и холоден был этот конь!
Позабудь про него. И, как зернышко – в борозду,
ты подкинь-ка, смеясь, августовского хворосту
своей белою пригоршней в красный огонь.

Что ж касается славы, любви и наград...
Где-то ходит, наверно, конь керамический
со своею улыбочкою иронической...
А в костре настоящие сосны горят!

4

Вокзал прощанье нам прокличет,
и свет зеленый расцветет,
и так легко до неприличья
шлагбаум руки разведет.

Не буду я кричать и клясться,
в лицо заглядывать судьбе...
Но дни и версты будут красться
вдоль окон поезда, к тебе.
И лес, и горизонт далекий,
и жизнь, как паровозный дым,
всё – лишь к тебе, как те дороги,
которые когда-то в Рим.

Два великих слова

Не пугайся слова „кровь” —
кровь, она всегда прекрасна,
Кровь ярка, красна и страстна,
„кровь” рифмуется с „любовь”.

Этой рифмы древний лад!
Разве ты не клялся ею,
самой малостью своею,
чем богат и не богат?

Жар ее неотвратим...
Разве ею ты не клялся
в миг, когда один остался
с вражьей пулей на один?

И когда упал в бою,
эти два великих слова,
словно красный лебедь, снова
прокричали песнь твою.

И когда пропал в краю
вечных зим, песчинка словно,
эти два великих слова
прокричали песнь твою.

Мир качнулся. Но опять
в стуже, пламени и бездне
эти две великих песни
так слились, что не разнять.

И не верь ты докторам,
что для улучшения крови
килограмм сырой моркови
нужно кушать по утрам.

* * *

Оле

Я никогда не витал, не витал
в облаках, в которых я не витал,
и никогда не видал, не видал
городов, которых я не видал.
И никогда не лепил, не лепил
кувшин, который я не лепил,
и никогда не любил, не любил
женщин, которых я не любил...

Так что же я смею? И что я могу?
Неужто лишь то, чего не могу?
И неужели я не добегу
до дома, к которому я не бегу?
И неужели не полюблю
женщин, которых не полюблю?
И неужели не разрублю
узел, который не разрублю,
узел, который не развяжу,
в слове, которого я не скажу,
в песне, которую я не сложу,
в деле, которому не послужу...
в пуле, которую не заслужу?..

Четыре года

С. Орлову

Четвертый год подряд
война — твой дом, солдат.
Но хватит, отгудела непогода.
Есть дом другой —
там ждут и там не спят
четыре года, четыре года.

Здесь словно годы дни,
а там в окне — огни
горят, не позабытые в походах...
Когда б вам знать,
как мне нужны они —
четыре года, четыре года!

Когда кругом темно,
светлей твое окно...
Пора, пора, усталая пехота!
Есть много слов,
но я храню одно
четыре года, четыре года.

Ленинградская музыка

Пока еще звезды последние не отгорели,
вы встаньте, вы встаньте с постели, сойдите к дворам,
туда, где — дрова, где пестреют мазки акварели...
И звонкая скрипка Растрелли послышится вам.

Неправда, неправда, всё — враки, что будто бы старят
старанья и годы! Едва вы очутитесь тут,
как в колокола купола золотые ударят,
колонны горластые трубы свои задерут.

Веселую полночь люби — да на утро надейся...
Когда ни грехов и ни горестей не отмолить,
качаясь, игла опрокинется с Адмиралтейства
и в сердце ударит, чтоб старую кровь отворить.

О, вовсе не ради парада, не ради награды,
а просто для нас, выходящих с зарей из ворот,
гремят барабаны гранита, кларнеты ограды
свистят менуэты... И улица Росси поет!

Как я сидел в кресле царя

Век восемнадцатый. Актеры
играют прямо на траве.
Я – Павел Первый, тот, который
сидит России во главе.

И полонезу я внимаю,
и головою в такт верчу,
по-царски руку поднимаю,
но вот что крикнуть я хочу:

„Срывайте тесные наряды!
Презренье хрупким каблукам...
Я отменяю все парады...
Чешите все по кабакам...
Напейтесь все, переженитесь
кто с кем желает, кто нашел...
А ну, вельможи, оглянитесь!
А ну-ка денежки на стол!..”

И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя...
Но нет, нельзя. Я ж – Павел Первый.
Мне бунт устраивать нельзя.

И снова полонеза звуки.
И снова крикнуть я хочу:
„Ребята, наострите руки,
вам это дело по плечу:
смахнем царя... Такая ересь!
Жандармов всех пошлем к чертям —
мне самому они приелись...
Я поведу вас сам... Я сам...”

И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя...
Но нет, нельзя. Я ж — Павел Первый.
Мне бунт устраивать нельзя.

И снова полонеза звуки.
Мгновение — и закричу:
„За вашу боль, за ваши муки
собой пожертвовать хочу!
Не бойтесь, судей не жалейте,
иначе — всем по фонарю.
Я зрю сквозь целое столетье...
Я знаю что я говорю!”

И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя...
Да мне ж нельзя. Я — Павел Первый.
Мне бунтовать никак нельзя.

* * *

Затихнет шрапнель, и начнется апрель.
На прежний пиджак поменяю шинель.
Вернутся полки из похода.
Хорошая нынче погода.

Хоть сабля сечет, да и кровь всё течет —
брехня, что у смерти есть точный расчет,
что где-то я в поле остался...
Назначь мне свиданье, Настасья.

Всё можно пройти, и всё можно снести,
а если погибнуть — надежду спасти,
а выжить — как снова родиться...
Да было б куда воротиться.

В назначенный час проиграет трубач,
что есть нам удача среди всех неудач,
что все мы еще молодые,
и крылья у нас золотые.

* * *

Он, наконец, явился в дом,
где она сто лет вздыхала о нем,
куда он сам сто лет спешил:
ведь она так решила и он решил.

Клянусь, что это любовь была.
Посмотри – ведь это ее дела.
Но, знаешь, хоть Бога к себе призови,
всё равно ничего не понять в любви.

И поздний дождь в окно стучал,
и она молчала, и он молчал,
и он повернулся, чтобы уйти,
и она не припала к его груди.

Я клянусь, что и это любовь была.
Посмотри – ведь это ее дела.
Но, знаешь, хоть Бога к себе призови,
всё равно ничего не понять в любви.

* * *

Нацеленный глаз одинокого лося.
Рога в серебре, и копыта в росе.
А красный автобус вдоль черного леса,
как заяц, по белому лупит шоссе.

Шофер молодую кондукторшу любит.
Ах, только б автобус дошел невредим...
Горбатых снопов золотые верблюды
упрямо и долго шагают за ним.

Шагают столбы по-медвежьи, враскачку,
друг друга ведут, как коней, в поводах,
и птичка какая-то, словно циркачка,
шикарно качается на проводах.

А лес раскрывает навстречу ворота,
и ветки ладонями бьют по лицу.
Кондукторша ахает на поворотах:
ах, ей непривычно с мужчиной в лесу!

Сигнал повисает далекий-далекий.
И смотрят прохожие из-под руки:
там красный автобус на белой дороге,
у черного леса, у синей реки.

Божественное

Когда с фронтона Большого театра,
подковами бронзовыми звеня,
стремительно скатывается квадрага
и мчится в сумерках на меня,
я вижу бег ее напряженный,
она — уже рядом, невдалеке,
там — белокурый Бог обнаженный,
вьюгой февральскою обожженный,
с поводом ненадежным в руке
изгибается на передке.

Стужей февраль пропах и бензином.
Квадрига всё ускоряет бег
по магазинам, по магазинам
мимо троллейбусов, через снег,
чтобы под дикий трезвон уздечки
прочно припасть на все времена
к розовым россыпям сытной гречки,
к материкам золотого пшена,
чтоб со сноровкою самой будничной
и с прилежанием на челе
меж пьедесталом своим и булочной
в уличной кружить толчее...

С Духом Святым и Отцом и Сыном
по магазинам... по магазинам...

Храмули

Храмули — серая рыбка с белым брюшком.
А хвост у нее как у кильки, а нос — пирожком.
И чудится мне, будто брови ее взметены
и к сердцу ее все на свете крючки сведены.

Но если взглядеться в извилины жесткого дна —
счастливой подковкою там шевелится она.
Но если всмотреться в движение чистой струи —
она как обрывок еще не умолкшей струны.
И если внимательно вслушаться, оторопев, —
у песни бегущей воды эта рыбка — припев.

На блюде простом, пересыпана пряной травой,
лежит и кивает она голубой головой.
И нужно достойно и точно ее оценить,
как будто бы первой любовью себя осенить.

Потоньше, потоньше колите на кухне дрова,
такие же тонкие, словно признаний слова!

Представьте, она понимает призванье свое:
и громоподобные пиршества не для нее.
Ей тосты смешны, с позолотою вилки смешны,

ей чуткие пальцы и теплые губы нужны.
Ее не едят, а смакуют в вечерней тиши,
как будто беседуют с ней о спасенье души.

Фрески

1. Охотник

Спасибо тебе, стрела,
спасибо, сестра,
что так ты кругла
и остра,
что оленю в горячий бок
входишь, как Бог!
Спасибо тебе за твое умение,
за чуткий сон в моем колчане,
за оперенье,
за тихое пенье...
Дай тебе Бог воротиться ко мне!
Чтоб мясу быть жирным на целую треть,
чтоб кровь была густой и липкой,
олень не должен предчувствовать смерть...
Он должен
 умереть
 с улыбкой.

Когда окончится день,
я поклонюсь всем богам...

Спасибо тебе, Олень,
твоим ветвистым рогам,
мясу сладкому твоему,
побуревшему в огне и в дыму...
О Олень, не дрогнет моя рука,
твой дух торопится ко мне под крышу...
Спасибо, что ты не знаешь моего языка
и твоих проклятий я не расслышу!
О, спасибо тебе, расстояние, что я
не увидел оленьих глаз,
когда он угас!..

2. Гончар

Красной глины беру прекрасный ломоть
и давить начинаю его, и ломать,
плоть его мять, и месить, и молоть...
И когда остановится гончарный круг,
на красной чашке качнется вдруг
желтый бык – отпечаток с моей руки,
серый аист, пьющий из белой реки,
черный нищий, поющий последний стих,
две красотки зеленых, пять рыб голубых...

Царь, а царь, это рыбы раба твоего,
бык раба твоего... Больше нет у него ничего.
Черный нищий, поющий во имя его,
от обид обалдевшего раба твоего.

Царь, а царь, хочешь, будем вдвоем рисковать:
ты башкой рисковать, я тебя рисовать?
Вместе будем с тобою озоровать:
Бога – побоку, бабу – под бож, на кровать?!

Царь, а царь, когда ты устанешь из золота есть,
вели себе чашек моих принести,
где желтый бык – отпечаток с моей руки,
серый аист, пьющий из белой реки,
черный нищий, поющий последний стих,
две красотки зеленых, пять рыб голубых...

3. Раб

Один шажок
и другой шажок,
а солнышко село...
О господин,
вот тебе стожок
и другой стожок
доброго сена!
И все стога
(ты у нас один)
и колода меда...
Пируй, господин,
до нового года!
Я амбар — тебе,
а пожар — себе...
Я рвань,
я дрянь,
меня жалеть опасно.
А ты живи праздно:
сам ешь, не давай никому...
Пусть тебе — прекрасно,
госпоже — прекрасно,
холеям — прекрасно,
а плохо пусть —
топору твоему!

* * *

Человек стремится в простоту,
как небесный камень — в пустоту,
медленно сгорает
и за предпоследнюю черту
нехотя взирает.
но во глубине его очей
будто бы во глубине ночей
что-то созревает.

Время изменяет его внешность.
Время усмиряет его нежность,
словно пламя спички на мосту,
гасит красоту.

Человек стремится в простоту
через высоту.
Главные его учителя —
Небо и Земля.

Эта комната

К. Г. Паустовскому

Люблю я эту комнату,
где розовеет вереск
в зеленом кувшине.
Люблю я эту комнату,
где проживает ересь
с богами наравне.

Где в этом, только в этом
находят смысл
и ветром
смывают гарь и хлам,
где остро пахнет веком
четырнадцатым
с веком
двадцатым пополам.

Люблю я эту комнату
без драм и без расчета...
И так за годом год
люблю я эту комнату,
что, значит, в этом что-то,
наверно, есть, но что-то —
и в том, чему черед.

Где дни, как карты, смешивая —
грядущий и начальный,
что жив и что угас, —
я вижу, как насмешливо,
а может быть, печально
глядит она на нас.

Люблю я эту комнату,
где даже давний берег
так близок — не забыть...
Где нужно мало денег,
чтобы счастливым быть.

* * *

Оле

Ты — мальчик мой, мой белый свет,
оруженосец мой примерный.
В круговороте дней и лет
какие ждут нас перемены?

Какие примут нас века?
Какие смехом нас проводят?...
Живем как будто в половодье...
Как хочется наверняка!

Тиль Улентигель

Красный петух. Октябрь золотой. Тополь
серебряный.
Разве есть что на свете их перьев, и листьев, и пуха
целебнее?
Нужно к ранам (вот именно) к свежим (естественно)
их приложить...
Если свежие раны, конечно, вы успели уже заслужить.

Это пестрое, шумное, страстное нужно с рассвета и
затемно
собирать, и копить, и ценить, и хранить обязательно,
чтобы к ранам (вот именно) к свежим (естественно)
их приложить...
если свежие раны, конечно, вы успели уже заслужить.

Как трудны эти три работенки: Надежда, Любовь и
Пристрастие.
Оттого-то, наверно, и нет на земле работенки
прекраснее.
Вот и самые свежие раны неустанно дымятся во мне...
Потому что всегда и повсюду только свежие раны
в цене.

Счастливчик Пушкин

Александру Сергеичу хорошо!
Ему прекрасно!
Гудит мельничное колесо,
боль угасла,

баба щурится из избы,
в небе – жаворонки,
только десять минут езды
до ближней ярмарки.

У него ремесло первый сорт
и перо остро.
Он губаст и учен как черт,
и всё ему просто:

жил в Одессе, бывал в Крыму,
ездил в карете,
деньги в долг давали ему
до самой смерти.

Очень вежливы и тихи,
делами замученные,
жандармы его стихи
на память заучивали!

Даже царь приглашал его в дом,
желая при этом
потрепаться о том о сем
с таким поэтом.

Он красивых женщин любил
любовью не чинной,
и даже убит он был
красивым мужчиной.

Он умел бумагу марать
под треск свечки!
Ему было за что умирать
у Черной речки.

Житель Хевсуретии и белый корабль

Агафон Ардезиани, где ж твоя чоха?
Пьешь кефир в кафе, и кофе пьешь, и вновь — работа...
А затея на бумаге, как строка стиха,
так строга и так тиха под каплями пота.

Ты корабль рисуешь белый, грубый человек!
Ты проводишь кистью белой по бумаге белой.
Час проходит, как мгновенье, два мгновенья — век,
каждый взмах руки и кисти стоит жизни целой.

Горец бредит кораблями: руки — в якорях.
Тянет тиною от пашен, песен и подушек.
Ходит в булочниках лекарь, пекарь — в токарях.
Сто дорог с собою кличут — одна из них душит.

Белый-белый, как береза, борт у корабля.
Белый, как перо у чайки. Он воды коснется...
Чей-то сын веселый утром встанет у руля:
„Ты прощай, земля!..” — и рыба под водой проснется.

Сядет твой отец убитый в тот корабль живой.
Капитан команду вскрикнет. И на утре раннем
побегут барашки белые над самой головой
вслед надеждам, вслед тревогам, вслед воспоминаньям.

* * *

Мой город засыпает. А мне-то что с того?
Я был его ребенком, я нянькой был его,
я был его рабочим, его солдатом был...
Он слишком удивленно всегда меня любил.
Он слишком отчужденно мне руку подавал,
по будням меня помнил, а в праздник забывал.

И если я погибну, и если я умру,
проснется ли мой город с печалью поутру?
Пошлет ли на кладбище перед заходом дня
своих счастливых женщин оплакивать меня?

...Но с каждым днем всё чище, всё злей его люблю
и из своей любви богов своих леплю.
Мне ничего не надо, и сожалений нет:
со мной моя гитара и пачка сигарет.

* * *

Б. Слуцкому

Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше.

Март великодушный

У отворённых у ворот лесных,
откуда пахнет сыростью, где звуки
стекают по стволам, стоит лесник,
и у него — мои глаза и руки.

А лесу платя старые тесны.
Лесник качается на качкой кочке
и всё старается не прозевать весны
и первенца принять у первой почки.

Он наклоняется — помочь готов,
он вслушивается, лесник тревожный,
как надывается среди стволов
какой-то стебелек неосторожный.

Давайте же не будем обижать
сосновых бабок и еловых внучек,
пока они друг друга учат,
как под открытым небом март рожать!

Всё снова выстроить — нелегкий срок,
как зиму выстоять, хоть и знакома...
И почве выстрелить свой стебелек,
как рамы выставить хозяйке дома...

...Лес не кончается. И под его рукой
лесник качается, как лист послушный...
Зачем отчаиваться, мой дорогой?
Март намечается великодушный!

* * *

Берегите нас, поэтов, берегите нас.
Остаются век, полвека, год, неделя, час,
три минуты, две минуты, вовсе ничего...
Берегите нас и чтобы — все за одного.

Берегите нас с грехами, с радостью и без.
Где-то, юный и прекрасный, ходит наш Дантес.
Он минувшие проклятья не успел забыть,
но велит ему призванье пулю в ствол забить.

Где-то плачет наш Мартынов — поминает кровь:
он уже убил однажды, он не хочет вновь,
но судьба его такая, и свинец отлит,
и двадцатое столетье так ему велит.

Берегите нас, поэтов, от дурацких рук,
от поспешных приговоров, от слепых подруг.
Берегите нас, куда можно уберечь,
только так не берегите, чтоб костями нам лечь,

только так не берегите, как борзых псари,
только так не берегите, как псарей цари...
Будут вам стихи и песни, и еще не раз.
Только вы нас берегите, берегите нас.

* * *

М. Хуциеву

Мы приедем туда, приедем,
проедем — зови не зови —
вот по этим каменистым, по этим
осыпающимся дорогам любви.

Там мальчики гуляют, фасоня,
по августу, плавают в нем,
и пахнет песнями и фасолью,
красной солью и красным вином.

Перед чинарою голубою
поет Тинатин в окне,
и моя юность с моею любовью
перемешиваются во мне.

...Худосочные дети с Арбата,
вот мы едем, представь себе,
а арба под нами горбата,
и трава у вола на губе.

Мимо нас мелькают автобусы,
перегаром в лица дыша...
Мы наездились, мы не торопимся.
Мы хотим хоть раз не спеша.

После стольких лет перед бездною,
раскачавшись, как на волнах,
вдруг предстанет, как неизбежное,
путешествие на волах.

И по синим горам, пусть не плавное,
будет длиться через мир и войну
путешествие наше самое главное
в ту неведомую страну.

И потом без лишнего слова,
дней последних не торопя,
мы откроем нашу родину снова,
но уже для самих себя.

* * *

Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем,
у каждой эпохи свои подрастают леса...
А всё-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеичем
поужинать в “Яр” заскочить хоть на четверть часа.

Теперь нам не надо по улицам мыкаться ощупью.
Машины нас ждут, и ракеты уносят нас вдаль...
А всё-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков,
Хотя б одного, и не будет отныне... А жаль.

Я кланяюсь низко познания морю безбрежному,
разумный свой век, многоопытный век свой любя...
А всё-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему
и мы до сих пор всё холопами числим себя.

Победы свои мы ковали не зря и вынашивали,
мы всё обрели: и надежную пристань, и свет...
А всё-таки жаль — иногда над победами нашими
встают пьедесталы, которые выше побед.

Москва, ты не веришь слезам — это время проверило.
Железное мужество, сила и стойкость во всем...
Но если бы ты в наши слезы однажды поверила,
ни нам, ни тебе не пришлось бы грустить о былом.

Былое нельзя воротить... Выхожу я на улицу.
И вдруг замечаю: у самых Арбатских ворот
извозчик стоит, Александр Сергеич прогуливается...
Ах, нынче, наверное, что-нибудь произойдет.

Последний мангал

*Тамазу Чиладзе,
Джансугу Чарквиани*

Когда под хохот Куры и сплетни,
в холодной выпачканный золе,
вдруг закричал мангал последний,
что он последний на всей земле,
мы все тогда над Курой сидели
и мясо сдабривали вином,
и два поэта в обнимку пели
о трудном счастье, о жестяном.

А тот мангал, словно пес — на запах
орехов, зелени, бастурмы,
качаясь, шел на железных лапах
к столу, за которым сидели мы.

И я клянусь вам, что я увидел,
как он в усердье своем простом,
как пес, которого мир обидел,
присел и вильнул жестяным хвостом.

Пропахший зеленью, как духами,
и шашлыками еще лютей,
он, словно свергнутый бог, в духане
с надеждой слушал слова людей...

...Поэты плакали. Я смеялся.
Стакан покачивался в руке.
И современно шипело мясо
на электрическом очаге.

Красные цветы

Ю. Домбровскому

Срываю красные цветы.
Они стоят на красных ножках.
Они звенят, как сабли в ножнах,
и пропадают, как следы...

О эти красные цветы!
Я от земли их отрываю.
Они как красные трамваи
среди полдневной суеты.

Тесны их задние площадки —
там две пчелы, как две пилы,
жужжат, добры и беспощадны,
забившись в темные углы.

Две женщины на тонких лапках.
У них кошелки в свежих латках,
но взгляды слишком старомодны,
и жесты слишком благородны,
и помыслы их так чисты!..

О эти красные цветы!
Их стебель почему-то колет.

Они, как красные быки, идут толпою к водопою,
у каждого над головою рога сомкнулись, как венки...
Они прекрасны, как полки, остры их красные штыки,
портянки выстираны к бою.

У командира в кулаке — цветок на красном стебельке...
Он машет им перед собою.
Качается цветок в руке, как память о живом быке,
как память о самом цветке,
как памятник поре походной,
как монумент пчеле безродной,
той,
благородной,
старомодной,
летать привыкшей налегке...

Срываю красные цветы.
Они еще покуда живы.
Движения мои учтивы,
решения неторопливы,
и помыслы мои чисты...

Оловянный солдатик моего сына

Игорю

Земля гудит под соловьями,
под майским нежится дождем,
а вот солдатик оловянный
на вечный подвиг осужден.

Его, наверно, грустный мастер
пустил по свету невзлюбя.
Спроси солдатика: „Ты счастлив?“
И он прицелится в тебя.

И в смене праздников и буден,
в нестройном шествии веков
смеются люди, плачут люди,
а он всё ждет своих врагов.

Он ждет упрямо и пристрастно,
когда накинется трубя...
Спроси его: „Тебе не страшно?“
И он прицелится в тебя.

Живет солдатик оловянный
предвестником больших разлук
и автоматик окаянный
боится выпустить из рук.

Живет защитник мой, невольно
сигнал к сраженью торопя.
Спроси его: „Тебе не больно?“
И он прицелится в тебя.

Дорожная фантазия

Таксомоторная кибитка,
трясущаяся от избытка
былых ранений и заслуг,
по сопкам ткет за кругом круг.

Миную я глухие реки,
и на каком-то там ночлеге
мне чудится (хотя и слаб)
переселенческой телеги
скрип, и коней усталых храп,
и мягкий стук тигриных лап,
напрягшихся в лихом набеге,
и крик степи о человеке,
и вдруг на океанском берегу —
краб, распластавшийся как раб...

С фантазиями нету сладу:
я вижу, как в чужом раю,
перемахнув через ограду,
отыскивая дичь свою,
под носом у слепой двустволки
ободранные бродят волки...
Я их сквозь полночь узнаю.

А сторож-то! Со сторожихой
с семидесятилетней, тихой!
Они под жар печной – бока,
пока созревшей облепихой
дурманит их издалека,
пока им дышится, пока
им любопытны сны и толки,
пока еще слышны им волки,
и августа мягка рука,
пока кленовый лист узорный
им выпадает на двоих...

Вот так я представляю их,
случайный Бог таксомоторный,
невыспавшийся, тощий, черный,
с дорожных облаков своих.

Замок надежды

Я строил замок надежды. Строил-строил.
Глину месил. Холодные камни носил.
Помощи не просил. Мир так устроен:
была бы надежда – пусть не хватает сил.

А время шло. Времена года сменялись.
Лето жарило камни. Мороз их жег.
Прилетали белые сороки – смеялись.
Мне было тогда наплевать на белых сорок.

Лепил я птицу. С красным пером. Лесную.
Безымянную птицу, которую так люблю.
„Жизнь коротка. Не успеешь, дурак...” Рискую.
Женщина уходит, посмеиваясь. Леплю.

Коронованный всеми празднествами, всеми боями,
строю-строю. Задубела моя броня...
Все лесные свирели, все дудочки, все баяны,
плачьте, плачьте, плачьте вместо меня.

Последний пират

В районной пивной, на сквозном ветерке,
гуляет Последний Пират.
С малиновым камнем в старинной серьге
идет он в последний парад.

Десятая кружка, добра как вдова,
плывет, подбоченясь, к нему,
и вобла срывает с себя кружева,
готова уже ко всему.

И пена пивная дрожит на столах,
и брызги слетают с руки,
и красные рыбки в зеленых глазах
свои совершают круги.

Все денежки пропиты. Руки на стол!
Я сам из последних плачу
и сам поминаю соленый простор
и как ординарец шучу,
что прокляли б мы наш исхоженный шар
и сами бы сдохли с тоски,
когда б не малиновый этот пожар
серебряной этой серьги,
когда б не улыбки буфетных ворон,
не пенье фабричной трубы,
когда б не качался под нами перрон,
как палуба нашей судьбы.

Песенка о ночной Москве

Б. Ахмадулиной

Когда внезапно возникает
еще неясный голос труб,
слова, как ястребы ночные,
срываются с горячих губ,
мелодия, как дождь случайный,
гремит; и бродит меж людьми
надежды маленький оркестрик
под управлением любви.

В года разлук, в года сражений,
когда свинцовые дожди
лупили так по нашим спинам,
что снисхождения не жди,
и командиры все охрипли...
он брал команду над людьми,
надежды маленький оркестрик
под управлением любви.

Кларнет пробит, труба помята,
фагот, как старый посох, стерт,
на барабанах швы разлезлись...
Но кларнетист красив как черт!
Флейтист, как юный князь, изящен...
И вечно в сговоре с людьми
надежды маленький оркестрик
под управлением любви.

Старый флейтист

Идут дожди, и лето тает,
как будто не было его.
В пустом саду флейтист играет,
а больше нету никого.
Он одинок, как ветка в поле,
косым омытая дождем.
Давно ли, долго ли, легко ли —
никто не спросит ни о чем.

Ах, флейтист, флейтист в старом пиджаке,
с флейтою послушною в руке,
вот уж день прошел, так и жизнь пройдет,
словно лист осенний опадет.

Всё ниже, глуше свод небесный,
звук флейты слышится едва.
„Прости-прощай” — мотив той песни,
„Я всё прощу” — ее слова.
Знать, надо вымокнуть до нитки,
знать, надо горюшка хлебнуть,
чтоб к заколоченной калитке
с надеждой руки протянуть.

Ах, флейтист, флейтист в старом пиджаке,
с флейтою послушною в руке,
вот уж год прошел, так и век пройдет,
словно лист осенний опадет.

В городском саду

Круглы у радости глаза и велики у страха,
и пять морщинок на челе от празднеств и обид...
Но вышел тихий дирижер, но заиграли Баха,
и всё затихло, улеглось и обрело свой вид.

Всё стало на свои места, едва сыграли Баха...
Когда бы не было надежд — на черта белый свет?
К чему вино, кино, пшено, квитанции Госстраха
и вам — ботинки первый сорт, которым сносу нет?

„Не всё ль равно: какой земли касаются подошвы?
Не всё ль равно: какой улов из волн несет рыбак?
Не всё ль равно: вернешься цел или в бою падешь ты
и руку кто подаст в беде — товарищ или враг?“

О, чтобы было всё не так, чтоб всё иначе было,
наверно, именно затем, наверно, потому
играет будничным оркестр привычно и вполсилы,
а мы так трудно и легко всё тянемся к нему.

Ах, музыкант мой, музыкант, играешь, да не знаешь,
что нет печальных и больных и виноватых нет,
когда в прокуренных руках так просто ты сжимаешь,
ах, музыкант мой, музыкант, черешневый кларнет!

Молитва

Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому, чего у него нет:
мудрому дай голову, трусливому дай коня,
дай счастливому денег... И не забудь про меня.

Пока Земля еще вертится — Господи, твоя власть! —
дай рвущемуся к власти навластвовать всласть,
дай передышку щедрому, хоть до исхода дня.
Каину дай раскаяние... И не забудь про меня.

Я знаю: ты всё умеешь, я верую в мудрость твою,
как верит солдат убитый, что он проживает в раю,
как верит каждое ухо тихим речам твоим,
как веруем и мы сами, не ведая, что творим!

Господи мой Боже, зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится, и это ей странно самой,
пока ей еще хватает времени и огня,
дай же ты всем понемногу... И не забудь про меня.

Фотографии друзей

Деньги тратятся и рвутся,
забываются слова,
приминается трава,
только лица остаются
и знакомые глаза...
Плачут ли они, смеются —
не слышны их голоса.

Льются с этих фотографий
океаны биографий,
жизнь в которых вся, до дна,
с нашей переплетена.

И не муки и не слезы
остаются на виду,
и не зависть и беду
выражают эти позы;
не случайный интерес
и не сожаленья снова...

Свет — и ничего другого,
век — и никаких чудес.
Мы живых их обнимаем,
любим их и пьем за них...

...только жаль, что понимаем
с опозданием на миг!

* * *

То падая, то снова нарастая,
как маленький кораблик на волне,
густую грусть шарманка городская
из глубины двора дарила мне.

И вот, уже от слез на волосок,
я слышал вдруг, как раздавался четкий
свихнувшейся какой-то нотки
веселый и счастливый голосок.

Пускай охватывает нас смятением
несоответствие мехов тугих,
но перед наводнением смертельным
всё хочет жить. И нету правд других.

Все ухищрения и все уловки
не дали ничего взамен любви...
...Сто раз я нажимал курок винтовки,
а вылетали только соловьи.

Разговор с рекой Курой

Я тщательно считал друзей своих убитых.
— Зачем? Зачем? — кричала мне река
издалека. — И так во все века
мы слишком долго помним об обидах!..

А я считал... И не гасил огня...
И плакала Кура перед восходом.
А я считал... сравнил приход с расходом.
И не сошлось с ответом у меня.

* * *

Мгновенно слово. Короток век.
Где ж умещается человек?
Как, и когда, и в какой глуши
распускаются розы его души?
Как умудряется он успеть
свое промолчать и свое пропеть,
по планете просеменить,
гнев на милость переменить?
Как умудряется он, чудак,
на ярмарке поцелуев и драк,
в славословии и пальбе
выбрать только любовь себе?

Осколок выплеснет его кровь:
„Вот тебе за твою любовь!”
Пощечины перепадут в раю:
„Вот тебе за любовь твою!”

И всё ж умудряется он, чудак,
на ярмарке поцелуев и драк,
в славословии и гульбе
выбрать только любовь себе!

Как научиться рисовать

Если ты хочешь стать живописцем,
то рисовать не спеши.
Разные кисти из шерсти барсучьей
перед собой разложи,
белую краску возьми, потому что
это — начало, потом
желтую краску возьми, потому что
всё созревает, потом
серую краску возьми, чтобы осень
в небо плеснула свинец,
черную краску возьми, потому что
есть у начала конец,
краски лиловой возьми пощедрее,
смейся и плачь, а потом
синюю краску возьми, чтобы вечер
птицей слетел на ладонь,
красную краску возьми, чтобы пламя
затрепетало, потом
краски зеленой возьми, чтобы веток
в красный подбросить огонь.
Перемешай эти краски, как страсти,
в сердце своем, а потом
перемешай эти краски и сердце
с небом, с землей, а потом...

**Главное – это сгорать и, сгорая,
не сокрушаться о том.
Может быть, кто и осудит сначала,
но не забудет потом!**

Песенка о художнике Пиросмани

Николаю Грицуюку

Что происходит с нами,
когда мы смотрим сны?
Художник Пиросмани
выходит из стены,

из рамок примитивных,
из всякой суеты
и продает картины
за порцию еды.

Худы его колени,
и насторожен взгляд,
но сытые олени
с картин его глядят,

красотка Маргарита
в траве густой лежит,
а грудь ее открыта —
там родинка дрожит.

И вся земля ликует,
пирует и поет,
и он ее рисует
и Маргариту ждет.

Он жизнь любил не скупю,
как видно по всему...
Но не хватило супа
на всей земле
ему.

Проводы юнкеров

Наша жизнь не игра.
Собираться пора.
Кант малинов, и лошади серы.
Господа юнкера,
кем вы были вчера?
А сегодня вы все — офицеры.

Господа юнкера,
кем вы были вчера
без лихой офицерской осанки?
Можно вспомнить опять
(ах, зачем вспоминать?),
как ходили гулять по Фонтанке.

Над гранитной Невой
гром стоит полковой,
да прощанье недорого стоит.
На германской войне
только пушки в цене,
а невесту другой успокоит.

Наша жизнь не игра.
В штыковую! Ура!..

Замерзают окопы пустые.
Господа юнкера,
кем вы были вчера?
Да и нынче вы все — холостые.

* * *

Ярославу Смелякову

В детстве мне встретился как-то кузнечик
в дебрях колечек трав и осок.

Прямо с колючек, словно с крылечек,
спрыгивал он, как танцор, на песок,
передо мною маячил мгновенье
и исчезал иноходцем в траве...

Может быть, первое стихотворенье
зрело в зеленой его голове.

— Намереваюсь! — кричал тот кузнечик.

— Может ли быть? — усмеялся сверчок.

Из-за досок, из щелей, из-за печек
крался насмешливый этот басок.

Но из-за речек, с лугов отдаленных:

— Намереваюсь! — как песня, как гром...

Я их встречал, голубых и зеленых.

Печка и луг им служили жильем.

Печка и Луг — разделенный на части
счастья житейского замкнутый круг,
к чести его обитателей частых,
честных, не праздных, как Печка и Луг,
маленьких рук постоянно стремленье,
маленьких мук постоянна волна...

Пламени этого столпотворенье
не успокоят ни мир, ни война,

ни уговоры его не излечат,
ни приговоры друзей и врагов...
— Может ли быть?! — как всегда из-за печек.
— Намереваюсь! — грохочет с лугов.
Годы прошли, да похвастаться нечем.
Те же дожди, те же зимы и зной.
Прожита жизнь, но всё тот же кузнечик
пляшет и кружится передо мной.
Гордый бессмертьем своим непреклонным,
мировоззреньем своим просветленным,
скачет, куражится, ест за двоих...
Но не молчит и сверчок тот бессонный.
Всё усмехается.
Что мы — для них?

Ленинградская элегия

Я видел удивительную, красную, огромную луну,
подобную предпраздничному первому помятому блину,
а может быть, ночному комару, что в свой черед
легко взлетел в простор с лесных болот.

Она над Ленинградом очень медленно плыла.
Так корабли плывут без капитанов медленно...
Но что-то бледное мне виделось сквозь медное
покрытие ее высокого чела.

Под ней покоилось в ночи пространство невское,
и слышалась лишь переключка площадей пустых...
И что-то женское мне чудилось сквозь резкое
слияние ее бровей густых.

Как будто гаснущий фонарь, она качалась в бездне синей,
туда-сюда над Петропавловкой скользя...
Но в том ее огне казались мне мои друзья
еще надежней и еще красивей.

Я вслушиваюсь: это их каблуки отчетливо стучат...
И словно невская волна, на миг взметнулось эхо,
когда друзьям я прокричал, что на прощание кричат.
Как будто сам себе я прокричал всё это.

Прощание с осенью

Осенний холодок. Пирог с грибами.
Калитки шорох и простывший чай.
И снова
неподвижными губами
короткое, как вздох: „Прощай, прощай...”

„Прощай, прощай...”
Да я и так прощаю
всё, что простить возможно, обещаю
и то простить, чего нельзя простить.
Великодушным мне нельзя не быть.

Прощаю всех, что не были убиты
тогда, перед лицом грехов своих.
„Прощай, прощай...”
Прощаю все обиды,
обеда у обидчиков моих.

„Прощай...”
Прощаю, чтоб не вышло боком.
Сосуд добра до дна не исчерпать.
Я чувствую себя последним богом,
единственным умеющим прощать.

„Прощай, прощай...”
Старания упрямы
(знать, мне лишь не простится одному),
но горести моей прекрасной мамы
прощаю я неведомо кому.

„Прощай, прощай...” Прощаю, не смущаю
угрозами, надежно их таю.
С улыбкою, размашисто прощаю,
как пироги, прощенья раздаю.

Прощаю побелевшими губами,
пока не повторится всё опять:
осенний горький час, пирог с грибами
и поздний час — прощаться и прощать.

Времена

Нынче матери все
словно заново всех
своих милых детей полюбили.
Раньше тоже любили,
но больше их хлебом корили,
сильнее лупили.

Нынче, как сухари,
и любовь, и восторг,
и тревогу, и преданность копят...
То ли это инстинкт,
то ли слабость души,
то ли сам исторический опыт?

Или в воздухе нашем само по себе
разливается что-то такое,
что прибавило им суетливой любви
и лишило отныне покоя?

Или ждать отказавшись, теперь за собой
оставляют последнее слово
и неистово жаждут прощать, возносить
и творить чудеса за кого-то другого?

Что бы ни было там,
как бы ни было там
и чему бы нас жизнь ни учила,
в нашем мире цена на любовь да на ласку
опять высоко подскочила.

И когда худосочные их сыновья
лгут, преследуют кошек,
наводняют базары,
матерям-то не каины видятся – авели,
не дедалы – икары!

И мерещится им
сквозь сумбур сумасбродств
дочерей современных,
сквозь гнев и капризы
то печаль Пенелопы,
то рука Жанны д'Арк,
то задумчивый лик Моны Лизы.

И слезами полны их глаза,
и высоко прекрасные вскинуты брови.
Так что я и представить себе не могу
ничего,
кроме этой любви!

Одна морковь с заброшенного огорода

Мы сидим, пехотные ребята.
Позади — разрушенная хата.
Медленно война уходит вспять.
Старшина нам разрешает спать.

И тогда (откуда — неизвестно,
или голод мой тому виной),
словно одинокая невеста,
выросла она передо мной.

Я киваю головой соседям:
на сто ртов одна морковь — пустяк...
Спим мы или бредим?
Спим иль бредим?
Веточки ли в пламени хрустят?

...Кровь густая капает из свеклы,
лук срывает бранный свой наряд,
десять пальцев, словно десять свекров,
над одной морковинкой стоят...

Впрочем, ничего мы не варили,
свекла не аела, лук не пах.
Мы морковь по-братски поделили,
и она хрустела на зубах.

Шла война, и кровь текла рекою.
В грозной битве рота polegла.
О природа, ты ж одной морковью
словно мать насытить нас могла!

И наверно, уцелела б рота,
если б в тот последний грозный час
ты одной любовью, о природа,
словно мать насытила бы нас!

Из окна вагона

Низкорослый лесок по пути в Бузулук,
весь похожий на пыльную армию леших —
пеших, песни лихие допевших,
сбивших ноги, продрогших, по суткам не евших,
и застывших, как будто в преддверье разлук.

Их седой командир, весь в коросте и рвани,
пишет письма домой на глухом барабане,
позабыв все слова, он марает листы.
Истрепались знамена, карманы пусты,
ординарец безумен, денщик безобразен...
Как пейзаж поражения однообразен!

Или это мелькнул за окном балаган,
где бушует уездных страстей ураган,
где играют безвестные комедианты,
за гроши продавая судьбу и таланты,
сами судьи и сами себе музыканты...

Их седой режиссер, обалдевший от брани,
пишет пьеску на порванном вдрызг барабане,
позабыв все слова, он марает листы,
декорации смяты, карманы пусты,
Гамлет глух, и Ромео давно безобразен...
Как сюжет нашей памяти однообразен!

Зной

Питер парится. Пора парочкам пускаться в поиск
по проспектам полуночным за прохладой. Может быть,
им пора поторопиться в петергофский первый поезд,
пекло потное покинуть, на перроне позабыть.

Петухи проголосили, песни поздние погасли.
Прямо перед паровозом проплывают и парят
Павловска перрон пустынный, Петергофа плен
прекрасный,
плеть Петра, причуды Павла, Пушкина пресветлый
взгляд.

Осень в Царском Селе

Какая царская нынче осень в Царском Селе!
Какие красные листья тянутся к черной земле,
какое синее небо и золотая трава,
какие высокопарные хочется крикнуть слова.

Но вот опускается вечер,
и слышится ветер с полей,
и филин рыдает, как Вертер,
над серенькой мышкой своей.

Уже он не первую губит,
не первые вопли слышны.
Он плоть их невинную любит,
а души ему не нужны.

И всё же какая царская осень в Царском Селе!
Как прижимаются листья лбами к прохладной земле,
какое белое небо и голубая трава,
какие высокопарные хочется крикнуть слова!

Песенка про маляров

Уважайте маляров,
как ткачей и докторов!
Нет, не тех, что по ограде
раз мазнул и – будь здоров.
Тех, что ради солнца, ради
красок из глубин дворов
в мир выходят на заре:
сами в будничном наряде,
кисти – в чистом серебре.

Маляры всегда честны.
Только им слегка тесны
человечьей жизни сроки,
как недолгий свет весны.
И когда ложатся спать,
спят тела, не спится душам:
этим душам вездесущим
красить хочется опять.

Бредят кистями ладони,
краски бодрствуют, спешат.
Кисти, как ночные кони,
по траве сырой шуршат...
Синяя по стенам влага,

бурый оползень оврага,
пятна на боках коров —
это штуки маляров.

Или вот вязанка дров,
пестрая, как наважденье,
всех цветов нагроможденье:
дуба серая кора,
золотое тело липы,
красный сук сосны, облитый
липким слоем серебра...
Или вот огонь костра...
Или первый свет утра...

Маляры всегда честны.
Только им слегка тесны
сроки жизни человеческой,
как недолгий бег весны.
И когда у них в пути
обрывается работа,
остается впереди
недокрашенное что-то,
как неспетое — в груди...

Уважайте маляров —
звонких красок мастеров!
Лейтесь, краски,
пойте, кисти,
крась, маляр,
и будь здоров!

Прощание с Польшей

Мы связаны, поляки, давно одной судьбою
в прощанье, и в прощенье, и в смехе, и в слезах.
Когда трубач над Краковом возносится с трубою,
хватаюсь я за саблю с надеждою в глазах.

Потертые костюмы сидят на нас прилично,
и плачут наши сестры, как Ярославны, вслед,
когда под крик гармоник уходим мы привычно
сражаться за свободу в свои семнадцать лет.

Прошу у вас прощенья за раннее прощанье,
за долгое молчанье, за поздние слова;
нам Время подарило пустые обещанья,
от них у нас, Агнешка, кружится голова.

Над Краковом убитый трубач трубит бессменно,
любовь его безмерна, сигнал тревоги чист.
Мы школьники, Агнешка. И скоро перемена.
И чья-то радиолоа наигрывает твист.

Письмо Антокольскому

Здравствуйте, Павел Григорьевич! Всем штормам вопреки,
пока конфликты улаживаются и рушатся материки,
крепкое наше суденышко летит по волнам стрелой,
и его добротное тело пахнет свежей смолой.

Работа наша матросская призывает бодрствовать нас,
хоть вы меня и постарше, а я помоложе вас
(а может быть, вы моложе, а я немного старей)...
Ну что нам все эти глупости? Главное — плыть поскорей.

Киплинг, как леший, в морскую дудку насвистывает
без конца,
Блок над картой морей просиживает, не поднимая лица,
Пушкин долги подсчитывает, и, от вечной петли спасен,
в море вглядывается с мачты вор Франсуа Вийон!

Быть может, завтра меня матросы под бульканье якорей
высадят на одинокий остров с мешком гнилых сухарей,
и рулевой равнодушно встанет за штурвальное колесо,
и кто-то выругается сквозь зубы на прощание мне
в лицо.

Быть может, всё это так и будет. Я точно знать не могу.
Но лучше пусть это будет в море, чем на берегу.

И лучше пусть судят меня матросы от берегов вдали,
чем презирающие море обитатели твердой земли...

До свидания, Павел Григорьевич! Нам сдаваться нельзя.
Все враги после нашей смерти запишутся к нам в друзья.
Но перед бурей всегда надежней в будущее глядеть...
Самые чистые рубахи велит капитан надеть!

* * *

А. Тарковскому

Друзья, не надейтесь на чудо,
не верьте в заморский Сезам.
Нам плакать и плакать, покуда
Москва не поверит слезам.

* * *

Не верю в бога и в судьбу, молюсь прекрасному
и высшему
предназначенью своему, на белый свет меня
явившему...
Чванливы черти, дьявол зол, бессилен Бог — ему
неможется...
О, были б помыслы чисты! А остальное всё
приложится.

Верчусь, как белка в колесе, с надеждою своей
за пазухой,
ругаюсь, как мастеровой, то тороплюсь, а то
запаздываю.
Покуда дремлет бог войны — печет пирожное
пирожница...
О, были б небеса чисты, а остальное всё
приложится.

Молюсь, чтоб не было беды, и мельнице молюсь,
и мельнице,
воде простой, когда она из крана золотого
выльется,
молюсь, чтоб не было разрух, разлук, чтоб больше
не тревожиться.
О, руки были бы чисты! А остальное всё
приложится.

Цирк

Ю. Никулину

Цирк – не парк, куда вы входите грустить и отдыхать.
В цирке надо не высиживать, а падать и взлетать
И, под куполом, под куполом, под куполом скользя,
ни о чем таком сомнительном раздумывать нельзя.

Все костюмы наши праздничные – смех и суета.
Все улыбки наши пряничные не стоят ни черта
перед красными султанами на конских головах,
перед лицами, таящими надежду, а не страх.

О Надежда, ты крылатое такое существо!
Как прекрасно твое древнее святое вещество:
даже если вдруг потеряна (как будто не была),
как прекрасно ты распахиваешь два своих крыла

над манежем и над ярмаркою праздничных одежд,
над тревогой завсегдатаев, над ужасом невежд,
похороненная заживо, являешься опять
тем, кто жаждет не высиживать, а падать и взлетать.

* * *

Ю. Дамбровскому

Разве лев — царь зверей? Человек — царь зверей.
Вот он выйдет с утра из квартиры своей,
он посмотрит кругом, улыбнется...
Целый мир перед ним содрогнется.

* * *

Решайте, решайте, решайте
за Марью, за Дарью, за всех.
И в череп свой круглый вмещайте
их слезы, позор и успех.
Конечно, за голову эту
при жизни гроша не дадут...
Когда же по белому свету
вас в черных цепях поведут,
сначала толпа соберется,
потом как волна опадет...
И Марья от вас отвернется,
и Дарья плечами пожмет.
...И всё же решайте, решайте...

* * *

Надежда, белою рукою
сыграй мне что-нибудь такое,
чтоб краска схлынула с лица,
как будто кони от крыльца.

Сыграй мне что-нибудь такое,
чтоб ни печали, ни покоя,
ни нот, ни клавиш и ни рук...
О том, что я несчастен, врут.

Еще нам плакать и смеяться,
но не смиряться, не смиряться.
Еще не пройден тот подъем.
Еще друг друга мы найдем...

Все эти улицы — как сестры.
Твоя игра — их говор пестрый,
их каблуков полночный стук...
Я жаден до всего вокруг.

Ты так играешь, так играешь,
как будто медленно сгораешь.
Но что-то есть в твоём огне,
еще неведомое мне.

Встреча

Кайсыну Кулиеву

Насмешливый, тщедушный и неловкий,
единственный на этот шар земной,
на Усачевке, возле остановки,
вдруг Лермонтов возник передо мной,
и в полночи рассеянной и зыбкой
(как будто я о том его спросил)
– Мартынов – что... –
он мне сказал с улыбкой. –
Он невиновен.
Я его простил.
Что – царь? Бог с ним. Он дожил до могилы.
Что – раб? Бог с ним. Не воин он один.
Царь и холоп – две крайности, мой милый.
Нет ничего опасней средин...
Над мрамором, венками перевитым,
убийцы стали ангелами вновь.
Удобней им считать меня убитым:
венки всегда дешевле, чем любовь.
Как дети, мы всё забываем быстро,
обидчикам не помним мы обид,
и ты не верь, не верь в мое убийство:
другой поручик был тогда убит.
Что – пистолет?.. Страшна рука дрожащая,
тот пистолет растерянно держащая,

особенно тогда она страшна,
когда сто раз пред тем была нежна...
Но, слава Богу, жизнь не оскудела,
мой Демон продолжает тосковать,
и есть еще на свете много дела,
и нам с тобой нельзя не рисковать.
Но, слава Богу, снова паутинки,
и бабье лето тянется на юг,
и маленькие грустные грузинки
полжизни за улыбки отдают,
и суждены нам новые порывы,
они скликают нас наперебой...

Мой дорогой, пока с тобой мы живы,
всё будет хорошо у нас с тобой...

Грибоедов в Цинандали

Цинандальского парка осенняя дрожь.
Непредвиденный дождь. Затяжной.
В этот парк я с недавнего времени вхож —
мы почти породнились с княжной.

Петухи в Цинандали кричат до зари:
то ли празднуют, то ли грустят...
Острословов очкастых не любят цари —
Бог простит, а они не простят.

Петухи в Цинандали пророчат восход,
и под этот заманчивый крик
Грибоедов, как после венчанья, идет
по Аллее Любви напрямик,

словно вовсе и не было дикой толпы
и ему еще можно пожить,
словно и не его под скрипенье арбы
на Мтацминду везли хоронить;

словно женщина эта — еще не вдова
и как будто бы ей ни к чему
на гранитном надгробье проплакать слова
смерти, горю, любви и уму;

словно верит она в петушиный маневр,
как поэт торопливый — в строку...
Нет, княжна, я воспитан на лучший манер,
и солгать вам, княжна, не могу,

и прощенья прошу за неловкость свою...
Но когда б вы представить могли,
как прекрасно — упасть, и погибнуть в бою,
и воскреснуть, поднявшись с земли!

И, срывая очки, как винтовку — с плеча,
и уже позабыв о себе,
прокричать про любовь навсегда, сгоряча
прямо в рожу орущей толпе!..

...Каждый куст в парке княжеском мнит о себе.
Но над Персией — гуще гроза.
И спешит Грибоедов навстречу судьбе,
близоруко прищунив глаза.

Душевный разговор с сыном

Мой сын, твой отец — лежебока и плут
из самых на этом веку.
Ему не знакомы ни молот, ни плуг,
я в этом поклясться могу.

Когда на земле бушевала война
и были убийства в цене,
он раной одной откупился сполна
от смерти на этой войне.

Когда погорельцы брели на восток
и участь была их горька,
он в теплом окопе пристроиться смог
на сытную должность стрелка.

Не словом трибуна, не тяжкой киркой
на благо родимой страны —
он всё норовит заработать строкой
тебе и себе на штаны.

И всё же, и всё же не будь с ним суров
(не знаю и сам почему),
поздравь его с тем, что он жив и здоров,
хоть нет оправданья ему.

Он, может, и рад бы достойней прожить
(далече его занесло),
но можно рубаху и паспорт сменить,
да поздно менять ремесло.

* * *

Осень ранняя. Падают листья.
Осторожно ступайте в траву.
Каждый лист — это мордочка лисья...
Вот земля, на которой живу.

Лисы ссорятся, лисы тоскуют,
лисы празднуют, плачут, поют,
а когда они трубки раскурят,
значит — дождички скоро польют.

По стволам пробегает горенье,
и стволы пропададут во рву.
Каждый ствол — это тело оленья...
Вот земля, на которой живу.

Красный дуб с голубыми рогами
ждет соперника из тишины...
Осторожней: топор под ногами!
А дороги назад сожжены!

...Но в лесу, у соснового входа,
кто-то верит в него наяву...
Ничего не попишешь: природа!
Вот земля, на которой живу.

* * *

Мы едем на дачу к Володе,
как будто мы в кровном родстве.
Та дача в Абрамцеве вроде,
зарыта в опавшей листве.

Глядят имена музыкантов
с табличек на каждом углу,
и мы, словно хор дилетантов,
удачам возносим хвалу.

Под будничными облаками
сидим на осеннем пиру,
и грусть, что соседствует с нами,
всё чаще теперь ко двору.

Минувшего голос несносный
врывается, горек, как яд...
Зачем же мы, братья и сестры,
съезжаемся в тот листопад?

Зачем из машин мы выходим?
Зачем за столом мы сидим?
И счетов как будто не сводим —
светло друг на друга глядим.

Мы – дачники, мы – простофили,
очкарики и фраера...

В каких нас давиленьях давили –
да, видно, настала пора.

Свинцом небеса налитые,
и пробил раскаянья час,
и все мы почти что святые,
но некому плакать о нас.

На даче сидим у Володи,
поближе к природе самой,
еще и не старые вроде,
а помнится... Боже ты мой!

* * *

Карандаш желает истину
знать. И больше ничего.
Только вечную и чистую,
как призвание его.

И не блатом, не лекарствами —
создан словно на века.
Он как джентльмен при галстукe,
как умелец у станка.

Он не жаждет строчки прибыльной,
задыхаясь на бегу —
только б у фортуны губительной
ни на грош не быть в долгу.

И пока больной, расхристанный,
вижу райские места,
взгляд его, стальной и пристальный,
не оторван от листа.

И, пока недолго длящийся
жизни путь к концу лежит,
грифелек его дымящийся
за добычею бежит.

Подступает мгла могильная,
но ... уже совмещены
зов судьбы, ладонь бессильная,
запах пота и вины.

Капли Датского короля

Вл. Мотылю

В раннем детстве верил я,
что от всех болезней
капель Датского короля
не найти полезней.
И с тех пор горит во мне
огонек той веры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Капли Датского короля
или королевы —
это крепче, чем вино,
слаще карамели
и сильнее клеветы,
страха и холеры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Рев орудий, посвист пуль,
звон штыков и сабель
растворяются легко
в звоне этих капель,
солнце, май, Арбат, любовь —
выше нет карьеры...

Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Слава головы кружит,
власть сердца щечочет.
Грош цена тому, кто встать
над другим захочет.
Укрепляйте организм,
принимайте меры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Если правду прокричать
вам мешает кашель,
не забудьте отхлебнуть
этих чудных капель.
Перед вами пусть встают
прошлого примеры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Прощание с новогодней ёлкой

З. Крахмальниковой

Синяя крона, малиновый ствол,
звяканье шишек зеленых.
Где-то по комнатам ветер прошел:
там поздравляли влюбленных.
Где-то он старые струны задел —
тянется их перекличка...
Вот и январь накатил-налетел
бешеный, как электричка.

Мы в пух и прах наряжали тебя,
мы тебе верно служили.
Громко в картонные трубы трубя,
словно на подвиг спешили.
Даже поверилось где-то на миг
(знать, в простодушие сердечном):
женщины той очарованный лик
слит с твоим празднеством вечным.

В час расставания, в час платежа,
в день увяданья недели
чем это стала ты нехороша?
Что они все, одурели?!
И утонченные, как соловьи,
гордые, как гренадеры,

что же надежные руки свои
прячут твои кавалеры?

Нет бы собраться им — время унять,
нет бы им всем — расстараться...
Но начинают колеса стучать:
как тяжело расставаться!
Но начинается вновь суета.
Время по-своему судит.
И в суете тебя сняли с креста,
и воскресенья не будет.

Ель моя, Ель — уходящий олень,
зря ты, наверно, старалась:
женщины той осторожная тень
в хвое твоей затерялась!
Ель моя, Ель, словно Спас на крови,
твой силуэт отдаленный,
будто бы след удивленной любви,
вспыхнувшей, неуголенной.

Старинная студенческая песня

Ф. Светову

Поднявший меч на наш союз
достоин будет худшей кары,
и я за жизнь его тогда
не дам и ломаной гитары.
Как вождельно жаждет век
нащупать брешь у нас в цепочке...
Возьмемся за руки, друзья,
чтоб не пропасть поодиночке.

Среди совсем чужих пиров
и слишком ненадежных истин,
не дожидаясь похвалы,
мы перья белые почистим.
Пока безумный наш султан
сулит дорогу нам к острогу,
возьмемся за руки, друзья,
возьмемся за руки, ей-богу.

Когда ж придет дележки час,
не нас калач ржаной поманит,
и рай настанет не для нас,
зато Офелия помянет.
Пока ж не грянула пора
нам отправляться понемногу,
возьмемся за руки, друзья,
возьмемся за руки, ей-богу.

* * *

Скрипят на новый лад все перья золотые.
Страшают рай и ад то зноем, то грозой.
Поэты молодые не ставят запятые,
но плачут, как и мы, горючею слезой.

Вот милое лицо искажено печалью.
Вот вскинута ладонь под кромку топора.
И этот скорбный жест всё разгадать не чаю.
Понять бы уж пора, что каяться пора.

Соединив души отчаянье и трепет,
и трещинку в стене, и облачко тоски,
фантазия моя свое подобье слепит
и воспроизведет разбитое в куски:

ту трещинку в стене, ту фортку, что разбита,
тот первый сквознячок, что в ней проголосил...
Не катастрофа, нет, а так — гримасы быта.
Пора бы починить, да не хватает сил.

Мой дом стоит в лесу. Мой лес в окно глядится.
Окно выходит в лес. В лесу пока темно.
За лесом — божий мир: Россия, Заграница —
на перекрестке том, где быть им суждено.

Путешествие в памяти

Анатолию Рыбакову

Не помню зла, обид не помню, ни громких слов,
ни малых дел
и ни того, что я увидел, и ни того, что проглядел.
Я всё забыл, как днище вышиб из бочки века своего.
Я выжил.
Я из пекла вышел.
Там не оставил ничего.

Теперь живу посередине между войной и тишиной,
грехи приписываю Богу, а доблести — лишь Ей одной.
Я не оставил там ни боли, ни пепла, ни следов сапог,
и только глаз мой карий-карий блуждает там, как
светлячок.

Но в озаренье этом странном, в сиянье вещем светляка
счастливые бывшие люди мне чудятся издалека:
высокий хор поет с улыбкой,
земля от выстрелов дрожит,
сержант Петров, поджав колени,
как новорожденный лежит.

Грузинская песня

М. Келивидзе

Виноградную косточку в теплую землю зарю,
и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,
и друзей созову, на любовь свое сердце настрою...
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощенье,
говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву,
царь небесный пошлет мне прощение за прегрешенья...
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали,
в черно-белом своем преклоню перед нею главу,
и заслушаюсь я, и умру от любви и печали...
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

И когда заклубится закат, по углам залетая,
пусть опять и опять предо мною плывут наяву
синий буйвол, и белый орел, и форель золотая...
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

Песенка о дальней дороге

Б. Золотухину

Забудешь первый праздник и позднюю утрату,
когда луны колеса затренькают по тракту,
и силуэт совиный склонится с облучка,
и прямо в душу грянет простой романс сверчка.

Пускай глядит с порога красотка, увядая,
та гордая, та злая, слепая и святая...
Что – прелесть ее ручек? Что – жар ее перин?
Давай, брат, отрешимся.
Давай, брат, воспарим.

Жена, как говорится, найдет себе другого,
какого-никакого, как ты, недорогого.
И дальняя дорога дана тебе судьбой,
как матушкины слезы, всегда она с тобой.

Покуда ночка длится, покуда бричка катит,
дороги этой дальней на нас `обоих хватит.
Зачем ладонь с повинной ты на сердце кладешь?
Чего не потеряешь – того, брат, не найдешь.

От сосен свет целебный, от неба запах хлебный,
а от любви бедной сыночек будет бледный,
а дальняя дорога...
а дальняя дорога...
а дальняя дорога...

* * *

П. Луспекаеву

Ваше благородие госпожа разлука,
мне с тобою холодно, вот какая штука.
Письмецо в конверте погоди – не рви...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

Ваше благородие госпожа чужбина,
жарко обнимала ты, да мало любила.
В шелковые сети постой – не лови...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

Ваше благородие госпожа удача,
для кого ты добрая, а кому иначе.
Девять граммов в сердце постой – не зови...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

Ваше благородие госпожа победа,
значит, моя песенка до конца не спета!
Перестаньте, черти, клясться на крови...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

*Путешествие по ночной Варшаве
в дрожках*

Варшава, я тебя люблю легко, печально и навеки.
Хоть в арсенале слов, наверно, слова есть тоньше
и верней
но та, что с левой стороны, святая мышца в человеке
как бьется, как она тоскует!.. И ничего не сделать с ней.

Трясутся дрожки. Ночь плывет. Отбушевал в Варшаве
полдень.

Она пропитана любовью и муками обожжена,
как веточка в Лазенках та, которую я нынче поднял,
как Зигмунта поклон неловкий, как пани странная одна.

Забывтый Богом и людьми, спит офицер в конфедератке.
Над ним шумят леса чужие, чужая плещется река.
Пройдут недолгие века – напишут школьники в тетрадке
про всё, что нам не позволяет писать дрожащая рука.

Невыносимо, как в раю, добро просеивать сквозь сито,
слова процеживать сквозь зубы, сквозь недоверие –
любовь...

Фортуны верткую свою воспитываю жить открыто,
надежду – не терять надежды, доверие – проснуться вновь.

Извозчик, зажигай фонарь на старомодных крыльях
дрожек.

Неправда, будто бы он прожит, наш главный полдень
на земле!

Варшава, мальчики твои прически модные ерошат,
но тянется одна сплошная раздумья складка на челе.

Трясутся дрожки. Ночь плывет. Я еду Краковским
Предместьем.

Я захожу во мрак кавярни, где пани странная поет,
где мак червонный вновь цветет уже иной любви
предвестьем...

Я еду Краковским Предместьем.

Трясутся дрожки.

Ночь плывет.

Белорусский вокзал

Здесь птицы не поют,
деревья не растут,
и только мы, плечом к плечу, вырастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
над нашей родиной дым,
и, значит, нам нужна одна победа,
одна на всех, мы за ценой не постоим.
Нас ждет огонь смертельный,
и всё ж бессилён он.
Сомненья прочь. Уходит в ночь отдельный,
десятый наш, десантный батальон.

Едва огонь угас —
звучит другой приказ,
и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.
Взлетает красная ракета,
бьет пулемет неутомим,
и, значит, нам нужна одна победа,
одна на всех, мы за ценой не постоим.
Нас ждет огонь смертельный,
и всё ж бессилён он.
Сомненья прочь. Уходит в ночь отдельный,
десятый наш, десантный батальон.

От Курска и Орла
война нас довела
до самых вражеских ворот... Такие, брат, дела.
Когда-нибудь мы вспомним это
и не поверится самим,
а нынче нам нужна одна победа,
одна на всех, мы за ценой не постоим.
Нас ждет огонь смертельный,
и всё ж бессилён он.
Сомненья прочь. Уходит в ночь отдельный,
десятый наш, десантный батальон.

* * *

Я вас обманывать не буду.
Мне вас обманывать нельзя:
обман и так лежит повсюду,
мы по нему идем, скользя.

Давно погашены улыбки,
вокруг болотная вода,
и в том — ни тайны, ни ошибки,
а просто горе да беда.

Когда-то в молодые годы,
когда всё было невдомек,
какой-то призрачной свободы
достался мне шальной глоток.

Единственный. И без обмана
среди прочих ненадежных снов,
как сладкий яд, как с неба манна,
как дар судьбы без лишних слов.

Не в строгих правилах природы
ошибку повторять свою,
поэтому глоток свободы
я долго и счастливо пью.

* * *

Поэтов травили, ловили
на слове, им сети плели;
куражась, корнали им крылья,
бывало, и к стенке вели.

Наверное, от сотворенья,
от самой седой старины
они как козлы отпущенья
в скрижалях земных учтены.

В почете, и всё ж на учете,
и признанны, но до поры...
Вот вы с ними рядом живете,
а были вы с ними добры?

В трагическом их государстве
случалось и празднествам быть,
и всё же бунтарство с мытарством
попробуй от них отделить.

Им разные тракты клубили,
но всё ж в переделке любой
глядели они голубыми
за свой горизонт голубой.

И слова рожденного сладость
была им превыше, чем злость.
А празднества – это лишь слабость
минутная. Так повелось.

Я вовсе их не прославляю.
Я радуюсь, что они есть.
О, как им смешны, представляю,
посмертные тосты в их честь.

* * *

Немоты нахлебавшись без меры,
с городской отравой в крови,
опасаюсь фанатиков веры
и надежды, и поздней любви.

Как блистательны их карнавалы —
каждый крик, каждый взгляд, каждый жест...
Но зато как горьки и усталы
окончания пышных торжеств!

Я надеялся выйти на волю.
Как мы верили сказкам, скажи?
Но мою злополучную долю
утопили во зле и во лжи.

От тоски никуда не укрыться,
от природы ее грозовой.
Между мною и небом — граница.
На границе стоит часовой.

* * *

Виктору Забелышинскому

Долго гордая упряжка
через жизнь меня везла,
и счастливая ромашка
на пути моем росла.

Ехал я, еще не старый,
якоря свои рубя,
и какие-то гитары
предлагали мне себя.

Что-то бури предвещало,
бормотало всё о том...
Время сказок не прощало —
это скажется потом.

Всё потом: и сожаленье,
что не выпало посметь,
и везенье, и прозренье,
и раскаянье, и смерть.

И пронзенный этим знаньем,
всё запомнив назубок,
перед главным наказаньем
призадумался ездок,

не прося улад у Бога,
не прельщаясь на обман...
Всё равно одна дорога —
пыль, разлука да туман.

* * *

Д. Самойлову

На углу у гастронома,
на стеченье мостовых
как два древних астронома —
два печальных постовых.

Что ж вы дремлете, ребята?!
Собирайте-ка отряд:
недалече от Арбата
снова в Пушкина палят!

Похудевший и небритый,
приложась щекой к земле,
он о п я т ь лежит убитый
с грустной думой на челе.

Пистолет старинный рядом,
весь сюртук уже в крови,
где-то, за потухшим взглядом —
крик надежды и любви.

Пушкин, Пушкин, счет обидам —
очень грустная статья.
Но неужто быть убитым —
привилегия твоя?

Пистолет стреляет прямо,
да молва спешит в обход...
Ах, ни бронза и ни мрамор
не спасают от забот.

И опять невежда скромный
выбегает на Тверской
и огромный перст погромный
водружает над Москвой.

И опять над постаментом
торопливым инструментом
водружают монумент,
как эпохи документ.

Большая перемена
(школьная песенка)

Долгий звонок соловьем пропоет в тишине,
всем школярам перемену в судьбе обещаю.
Может, затем, чтоб напомнить тебе обо мне,
перемена приходит большая.

Утро и ночь проплывают за нашим окном.
Хлеб и любовь неразлучными ходят по кругу.
Долгий звонок... Мы не раз еще вспомним о нем,
выходя на свиданье друг к другу.

Время не ждет. Где-то замерли те соловьи.
Годы идут. Забываются школьные стены.
Но до конца... Это, видимо, в нашей крови
ожиданье большой перемены.

* * *

Ю. Мориз

Среди стерни и незабудок
не нами выбрана стезя,
и родина — есть предрассудок,
который победить нельзя.

* * *

Песенка короткая как жизнь сама,
где-то в дороге услышанная,
у нее пронзительные слова,
а мелодия почти что возвышенная.

Она возникает с рассветом, вдруг,
медлитель и врать не обученная,
она как надежда из первых рук
в дар от природы полученная.

От дверей к дверям, из окна в окно
вслед за тобой она тянется.
Всё пройдет, чему суждено,
только она останется.

Песенка короткая как жизнь сама,
где-то в дороге услышанная,
у нее пронзительные слова,
а мелодия почти что возвышенная.

Арбатский романс

Арбатского романса знакомое шитье,
к прогулкам в одиночестве пристрастье;
из чашки запотевшей счастливое питье
и женщины рассеянное „здрасьте”...

Не мучьтесь понапрасну: она ко мне добра.
Светло иль грустно — век почти что прожит.
Поверьте, эта дама из моего ребра,
и без меня она уже не может.

Бывали дни такие — гулял я молодой,
глаза глядели в небо голубое,
еще был не разменян мой первый золотой,
пылали розы, гордые собою.

Еще моя походка мне не была смешна,
еще подошвы не поотрывались,
за каждым поворотом, где музыка слышна,
какие мне удачи открывались!

Любовь такая штука: в ней так легко пропасть,
зарыться, закружиться, затеряться...
Нам всем знакома эта мучительная страсть,
поэтому нет смысла повторяться.

Не мучьтесь понапрасну: всему своя пора.
Траву возрастите — к осени сомнется.
Вы начали прогулку с арбатского двора,
к нему-то всё, как видно, и вернется.

Была бы нам удача всегда из первых рук,
и как бы там ни холило, ни било,
в один прекрасный полдень оглянетесь вокруг,
и всё при вас, целехонько, как было:

арбатского романса знакомое шитье,
к прогулкам в одиночестве пристрастье,
из чашки запотевшей счастливое питье
и женщины рассеянное “здрасьте”...

Песенка о Моцарте

И. Балаевой

Моцарт на старенькой скрипке играет.
Моцарт играет, а скрипка поет.
Моцарт отечества не выбирает —
просто играет всю жизнь напролет.
Ах, ничего, что всегда, как известно,
наша судьба — то гульба, то пальба...
Не оставляйте стараний, маэстро,
не убирайте ладони со лба.

Где-нибудь на остановке конечной
скажем спасибо и этой судьбе,
но из грехов нашей родины вечной
не сотворить бы кумира себе.
Ах, ничего, что всегда, как известно,
наша судьба — то гульба, то пальба...
Не расставайтесь с надеждой, маэстро,
не убирайте ладони со лба.

Коротки наши лета молодые:
миг — и развеются, как на кострах,
красный камзол, башмаки золотые,
белый парик, рукава в кружевах.
Ах, ничего, что всегда, как известно,

наша судьба – то гульба, то пальба...
Не обращайтесь вниманья, маэстро,
не убирайте ладони со лба.

Военные портняжки

Все военные портняжки —
золотые мастера.
Уважайте труд их тяжкий
и сегодня, как вчера.

Потому что командиры
(любо-дорого смотреть)
наряжаются в мундиры,
чтоб красиво умереть.

Чтоб лежать на поле бранном,
не жалея ни о ком,
не недужным и не пьяным,
а застреленным врагом.

Чтоб лежать на бранном поле
рядом с верными людьми
не по чьей-то злобной воле,
а по собственной любви.

То не ветер в поле стонет,
не дубравушка шумит...
Их никто на смерть не гонит —
сердце чистое велит.

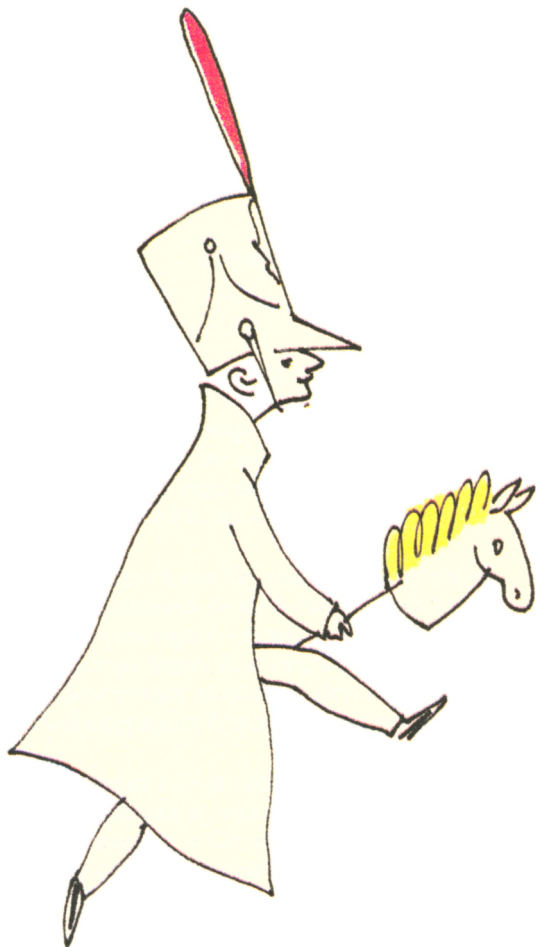
И тогда над смертью слава
нарождается в дыму.
Разве в мире есть держава,
безразличная к сему?

Ничего, что не добьются
вновь до дома своего...
Слава Богу, новобранцам
есть учиться у кого!

Вот поэтому портняжки
так обучены кроить,
так изогнуты, бедняжки,
чтобы славе угодить.

И поэтому мундиры
так кроются день и ночь,
чтоб блистали командиры,
уходя из жизни прочь.

СЕМИДЕСЯТЫЕ





Речитатив

Владлену Ермакову

Тот самый двор, где я сажал березы,
был создан по законам вечной прозы
и образцом дворов арбатских слыл;
там, правда, не выращивались розы,
да и Гомер туда не заходил...
Зато поэт Глазков напротив жил.

Друг друга мы не знали совершенно,
но, познавая белый свет блаженно,
попеременно — снег, дожди и сушь,
разгулы будней, и подъездов глушь,
и мостовых дыханье, неизменно
мы ощущали близость наших душ.

Ильинку с Божедомкою, конечно,
не в наших нравах предавать поспешно,
и Усачевку, и Охотный ряд...
Мы с ними слиты чисто и безгрешно,

как с нашим детством — сорок лет подряд;
мы с детства их пророки... Но Арбат!

Минувшее тревожно забывая,
на долголетье втайне уповая,
всё медленней живем, всё тяжелей...
Но песня тридцать первого трамвая
с последней остановкой у Филей
звучит в ушах, от нас не отставая.

И если вам, читатель торопливый,
он не знаком, тот гордый, сиротливый,
извилистый, короткий коридор
от ресторана „Праги” до Смоляги
и рай, замаскированный под двор,
где все равны: и дети и бродяги,
спешите же... Всё остальное — вздор.

***Приезжая семья фотографируется
у памятника Пушкину***

А. Цибулевскому

На фоне Пушкина снимается семейство.
Фотограф щелкает, и птичка вылетает.
Фотограф щелкает, но вот что интересно:
на фоне Пушкина! И птичка вылетает.

Все счета кончены, и кончены все споры.
Тверская улица течет, куда, не знает.
Какие женщины на нас кидают взоры
и улыбаются... И птичка вылетает.

На фоне Пушкина снимается семейство.
Как обаятельны (для тех, кто понимает)
все наши глупости и мелкие злодеяства
на фоне Пушкина! И птичка вылетает.

Мы будем счастливы (благодаренье снимку!).
Пусть жизнь короткая пронесится и тает.
На веки вечные мы все теперь в обнимку
на фоне Пушкина! И птичка вылетает.

Считалочка для Беллы

Я сидел в апрельском сквере.
Предо мной был Божий храм,
но не думал я о вере,
а глядел на разных дам.

И одна, едва пахнуло
с несомненностью весной,
вдруг на веточку вспорхнула
и уселась предо мной.

В модном платьице коротком,
в старомодном пальтеце,
и ладонь — под подбородком,
и загадка на лице.

В той поре, пока безвестной,
обозначенной едва:
то ли поздняя невеста,
то ли юная вдова.

Век мой короток — не жалко,
он длинней и ни к чему...
Но она петербуржанка
и бессмертна посему.

Шли столетья по России,
бил надежды барабан.
Не мечи людей косили —
слава, золото и обман.

Что ни век — всё те же нравы,
ухищренья и дела...
А Она вдали от славы
на Васильевском жила.

Знала счет шипам и розам
и безгрешной не слыла.
Всяким там метаморфозам
не подвержена была.

Но когда над Летним садом
возносила луна,
Михаилу с Александром,
верно, грезилась Она.

И в дороге, и в опале,
и крылаты, и без крыл,
знать, о Ней лишь помышляли
Александр и Михаил.

И загадочным и милым
лик Ее сиял живой
Александр с Михаилом
перед пулей роковой.

Эй вы, дней былых поэты,
старики и женихи,
признавайтесь, кем согреты
ваши перья и стихи?

**Как на лавочке сиделось,
чтобы душу усладить,
как на барышень гляделось,
не стесняйтесь говорить.**

**Как туда вам всё летелось
во всю мочь и во всю прыть...
Как оттуда не хотелось
в департамент уходить!**

Послевоенное танго

Вяч. Кондратьеву

Восславив тяготы любви и свои слабости,
слетались девочки в тот двор, как пчелы в августе;
и совершалось наших душ тогда мужание
под их загадочное жаркое жужжание.

Судьба ко мне была щедра: надежд подбрасывала.
Да жизнь по-своему текла — меня не спрашивала.
Я пил из чашки голубой — старался дочиста...
Случайно чашку обронил — вдруг август кончился.

Двор закачался, загудел, как хор под выстрелами,
и капельмейстер удалой кричал нам что-то...
Любовь иль злоба наш удел? Падем ли, выстоим ли?
Мужайтесь, девочки мои! Прощай, пехота!

Примяли наши сапоги траву газонную,
всё завертелось по трубе по гарнизонной.
Благословили времена шинель казенную,
не вышла вечною любовь — а лишь сезонной.

Мне снятся ваши имена — не помню облика:
в какие ситчики вам грезилось облечься?
Я слышу ваши голоса — не слышу отклика,
но друг от друга нам уже нельзя отречься.

Я загадал лишь на войну — да не исполнилось.
Жизнь загадала навсегда — сошлось с ответом...
Поплачьте, девочки мои, о том, что вспомнилось,
не уходите со двора: нет счастья в этом!

* * *

С каждым часом мы старше
от беды и от любви.
Хочешь жить — живи скорее,
а не хочешь — не живи.

Не кори меня, Настасья,
долгих счетов не своди.
С тем, что было, я расстался,
а что будет — впереди.

Николай нальет,
Михаил пригубит.
Кто совсем не пьет —
тот себя погубит.

Кто там робкий, кто там пылкий —
всё равно стезя одна.
Не молись, дурак, бутылке —
просто пей ее до дна!

Не для праздного безделья
нас фортуна призвала...
Дай Бог легкого похмелья
после трудного стола!

Николай нальет...

**Бог простит, беда научит,
судьба с жизнью разлучит.
Кто что стоит, то получит,
а не стоит — пусть молчит.**

**Наша жизнь — ромашка в поле,
Пока ветер не сорвет..
Дай Бог воли! Дай Бог воли!
Остальное заживет.**

Николай нальет...

Старинная солдатская песня

Отшумели песни нашего полка,
отзвенели звонкие копыта.
Пулями пробито днище котелка,
маркичантка юная убита.

Нас осталось мало: мы да наша боль.
Нас немного, и врагов немного.
Живы мы покуда, фронтовая голь,
а погубнем — райская дорога.

Руки на затворе, голова в тоске,
а душа уже взлетела в роде.
Для чего мы пишем кровью на песке?
Наши письма не нужны природе.

Спите себе, братцы, — всё придет опять:
новые родятся командиры,
новые солдаты будут получать
вечные казенные квартиры.

Спите себе, братцы, — всё начнется вновь,
всё должно в природе повториться:
и слова, и пули, и любовь, и кровь...
Времени не будет помириться.

Жизнь охотника

К. Ваншенкину

1

Первый день, первый день!
Всё прекрасно, всё здорово,
хоть уже на всем второго
дня
лежит косая тень.

2

День второй — день чудес,
день охоты, день объятий,
никаких еще проклятий
ни из уст и ни с небес.

Всё пока как будто впрок,
всё еще полно значенья,
голосок ожесточенья
легкомыслен, как щенок.

3

Третий день — день удач.
За удачею — удача.

Удивляйся и удачу,
поживи еще, удача.

Нет пока лихих годин
выражений осторожных...
Бог беды на тонких ножках
в стороне бредет один.

И счастливой на века
обещает быть охота,
и вторая капля пота,
как амброзия, сладка.

4

День четвертый. Рука
оперлась о подлокотник...
Что-то грустен стал охотник,
нерешителен слегка.

Вездесущая молва
о возможном всё страннее,
капли пота солонее,
и умеренней слова.

Счастлив будь, Сурок в норе!
Будь спокойна, Птица в небе!
Он — в раздумьях о добре,
в размышлениях о хлебе.

Из ствола не бьет дымок,
стрелы колют на лучину.

Всё, что было лишь намек,
превращается в причину.

5

Пятый день. Холодна
за окном стоит погода.
Нет охоты — есть работа.
Пота нет — лишь соль одна.

Отрешенных глаз свинец,
губ сухих молчанье злое...
Не похоже, чтоб скупец,
скапливающий былое.
Непохоже, чтоб глупец,
на грядущее плюющий,
пьянствующий иль непьющий,
верующий или лжец.

Может, жизнь кроя свою
на отдельные полоски,
убедился, что в авоське
больше смысла, чем в раю?..

Или он вдруг осознал,
что, спеша и спотыкаясь,
радуясь и горько каясь,
ничего не обогнал?

Что он там? Чему не рад
сам себе холоп и барин?
Был, как бес, высокопарен,
стал задумчив, как Сократ.

День шестой, день шестой...
 Всё теперь уже понятно:
 путь т у д а такой простой —
 это больно и приятно.

Всё сбывается точь-в-точь,
 как напутствие в дорогу.
 Тайна улетает прочь...
 Слава Богу,
 слава Богу.

Доберемся как-нибудь
 (что нам — знойно или вьюжно?),
 и увязывать не нужно
 чемоданы в дальний путь.

Можно просто налегке,
 не трясясь перед ошибкой,
 с дерзновенною улыбкой,
 словно с тросточкой в руке.

Остается для невежд
 ожиданье дней, в которых
 отсыревший вспыхнет порох
 душ,
 или раздастся шорох
 вновь проснувшихся надежд.

Что ты там ни славословь,
 как ты там ни сквернословь,
 не кроится впрок одежда...

Жизнь длиннее, чем надежда,
но короче, чем любовь.

7

День седьмой.
Выходной.
Дверь открыта выходная.
Дверь открыта в проходной...
До свиданья,
проходная!

Батальное полотно

Сумерки. Природа. Флейты голос нервный.
Позднее катанье.
На передней лошади едет император
в голубом кафтане.
Серая кобыла с карими глазами,
с челкой вороною.
Красная попона. Крылья за спиною,
как перед войною.

Вслед за императором едут генералы,
генералы свиты,
славою увиты, шрамами покрыты,
только не убиты.
Следом — дуэлянты, флигель-адъютанты.
Блещут эполеты.
Все они красавцы, все они таланты,
все они поэты.

Всё слабее звуки прежних клавесинов,
голоса былые.
Только топот мерный, флейты голос нервный
да надежды злые.
Всё слабее запах очага и дыма,
молока и хлеба.
Где-то под ногами и над головами —
лишь земля и небо.

На берегу Великого Океана

Покуда поздняя заря еще не скована туманом,
замри, счастливый пешеход, перед Великим
Океаном:
там в синих сумерках воды, в сиреневых ее закатах
так много ангелов простых, любвеобильных
и крылатых.

Вон среди зарослей и мглы, как стройный
мальчик на крылечке,
колышется конек морской без седока
и без уздечки,
не знающий кнута и шпора, не ведающий поля
брани...
Мне слышится из глубины его загадочное ржанье.

Вон сельдь плывет среди равнин. Кто знает,
что у той селедки —
змеиный бюст, акулий нрав и сердце девочки
в сердечке?
Кто знает, что в ее душе, затейливой и
многогранной,
под платицем ее смешным, в улыбке ласковой,
но странной?

То краб, то мидия, то спрут втекают в тот
поток хрустальный,
то хищник в строгом пиджаке, то либерал
сентиментальный,
то круг медузы молодой, похожей на пирог
слоеный,
то капелька воды морской – сестра твоей
слезы соленой.

Не слишком-то изыскан вид за окнами,
пропитан гарью и гнилой водой.
Вот город, где отца моего кокнули.
Стрелок тогда был слишком молодой.

Он был обучен и собой доволен.
Над жертвою в сомненьях не кружил.
И если не убит был алкоголем,
то, стало быть, до старости дожил.

И вот теперь на отдыхе почетном
внучат лелеет и с женой в ладу.
Прогулки совершает шагом четким
и вывески читает на ходу.

То в парке, то на рынке, то в трамвае
как равноправный дышит за спиной.
И зла ему никто не поминает,
и даже не обходят стороной.

Иные времена, иные лица.
И он со всеми как навеки слит.
И у него в бумажнике — убийца
пригрелся и усами шевелит.

**И, на тесемках пестрых повисая,
гитары чьи-то в полночи бренчат,
а он всё смотрит, смотрит не мигая
на круглые затылочки внучат.**

Из фронтового дневника

В этом поле осколки как розги
по ногам атакующих бьют.
И колючие ржавые розы
в этом поле со звоном цветут.

И идет, не пристроившись к строю,
и задумчиво тычется в пыль
днем и ночью, верста за верстою
рядовой одноногий Костыль.

У полковника Смерти ошибки:
недостача убитых в гробах —
у солдат неземные улыбки
расцветают на пыльных губах.

Скоро-скоро случится такое:
уцелевший средь боя от ран,
вдруг запросит любви и покоя
удалой капитан Барабан.

И, не зная, куда и откуда,
он пойдет, как ослепший на свет...
„Неужели вы верите в чудо?!“ —
поперхнется поручик Кларнет.

Прав ли он, тот Кларнет изумленный,
возвышая свой голос живой
над годами уже не зеленой,
похоронной, сожженной травой?

Прав ли он, усомнившись в покое,
разрушая надежду окрест?..
Он, бывало, кричал не такое
под какой-нибудь венский оркестр.

Мы еще его вспомним, наверно,
где-то рядом с войною самой,
как он пел откровенно и нервно...
Если сами вернемся домой.

Мы ещё его вспомним-помянем,
как передний рубеж и обоз...
Если сами до света дотянем,
не останемся здесь, среди роз.

* * *

Умереть — тоже надо уметь,
на свидание к небесам
паруса выбирая тугие.
Хорошо, если выберешь сам,
хуже, если помогут другие.

Смерть приходит тиха,
бестелесна
и себе на уме.
Грустных слов чепуха
неуместна,
как холодное платье — к зиме.

И о чем толковать?
Вечный спор
ни Христос не решил, ни Иуда...
Если т а м благодать,
что ж никто до сих пор
не вернулся с известьем оттуда?

Умереть — тоже надо уметь,
как прожить от признанья до сплетни,
и успеть предпоследний мазок положить,
сколотить табурет предпоследний,

чтобы к самому сроку,
как в пол — предпоследнюю чашу,
предпоследние слезы со щек...
А последнее — Богу,
последнее — это не наше,
последнее — это не в счет.

Умереть — тоже надо уметь,
как бы жизнь ни ломала
упрямо и часто...
Отпущенье грехов заиметь —
ах как этого мало
для вечного счастья!

Сбитый с ног наповал,
отпущением ч т о он добудет?
Если б Бог отпущенье давал...
А дают-то ведь люди!

Что — грехи?
Остаются стихи,
продолжают бесчинства по свету,
не прося снисхожденья...
Да когда бы и вправду грехи,
а грехов-то ведь нету,
есть просто движенье.

* * *

Убили моего отца
ни за понюшку табака.
Всего лишь капелька свинца —
зато как рана глубока!

Он не успел, не закричал,
лишь выстрел треснул в тишине.
Давно тот выстрел отзвучал,
но рана та еще во мне.

Как эстафету прежних дней
сквозь эти дни ее несу.
Наверно, и подохну с ней,
как с трехлинейкой на весу.

А тот, что выстрелил в него,
готовый заново пальнуть,
он из подвала своего
домой поехал отдохнуть.

И он вошел к себе домой
пить водку и ласкать детей,
он — соотечественник мой
и брат по племени людей.

**И уж который год подряд,
презревши боль былых утрат,
друг друга братьями зовем
и с ним в обнимку мы живем.**

* * *

„Я маленький, горло в ангине...”
(Так Дезик однажды писал.)
На окнах полуночный иней,
и сон почему-то пропал.

Метался Ордынкой январской
неведомый мне человек,
наверно, с надеждой гусарской
на стол, на тепло и ночлег.

С надеждой на свет и на место,
с улуйскою розой в руках,
кидался в подъезд из подъезда,
сличал номера на домах.

Не с тем, чтобы жизнь перестроить,
а лишь обогреться душой
и розу хотя бы пристроить
в надежной ладони чужой.

Фортуна средь мрака и снега
не очень-то доброй была:
то стол без тепла и ночлега,
то мрак без стола и тепла,

то свет без еды и кровати,
то вовсе тепло не тепло...

Тот адрес загадочный, кстати,
какое сболтнуло трепло?
Все спали, один без другого
не мысля себя на веку,
не слыша, что кто-то без крова
в январском сгорает снегу.

А может, не спали — бледнели,
в потемках густых затаясь,
как будто к январской метели
лицом обернуться страшась.

Полночную тьму разрезало
неистойвой трелью звонков.
Там кожа с ладоней слезала,
коснувшись промерзших замков.

И что-то меня подымало,
сжигало, ломало всего.
Я думал: а вдруг это мама?..
Но роза в руке — для чего?

Мне слышались долгие звуки,
но я не сбегал во дворы...
И кровоточат мои руки
с той самой январской поры.

* * *

Римская империя времени упадка
сохраняла видимость твердого порядка:
главный был на месте, соратники рядом,
жизнь была прекрасна, судя по докладам.
А критики скажут, что слово „соратник” — не римская
деталь,
что эта ошибка всю песенку смысла лишает...
Может быть, может быть, может и не римская — не жаль.
Мне это совсем не мешает, а даже меня возвышает.

Римляне империи времени упадка
ели, что достанут, напивались гадко,
а с похмелья каждый на рассол был падок, —
видимо, не знали, что у них упадок.
А критики скажут, что слово „рассол”, мол, не римская
деталь,
что эта ошибка всю песенку смысла лишает...
Может быть, может быть, может и не римская — не жаль.
Мне это совсем не мешает, а даже меня возвышает.

Юношам империи времени упадка
снились постоянно то скатка, то схватка,
то они в атаке, то они в окопе,
то в Афганистане, а то и в Европе.

А критики скажут, что „скатка”, представьте, не римская
деталь,
что эта ошибка всю песенку смысла лишает...
Может быть, может быть, может и не римская — не жаль.
Мне это совсем не мешает, а даже меня возвышает.

Римлянкам империи времени упадка,
только им, красавицам, доставалось сладко —
все пути открыты перед ихним взором:
хочешь — на работу, а хочешь — на форум.
А критики хором: „Ах, форум! Ах, форум! — вот римская
деталь!
Одно лишь словечко — а песенку как украшает!..”
Может быть, может быть, может быть и римская — а жаль:
мне это немного мешает и замысел мой разрушает.

* * *

Давайте придумаем деспота,
чтоб в душах царил он один
от возраста самого детского
и до благородных седин.

Усы ему вырастим пышные
и хищные вставим глаза,
сапожки натянем неслышные
и проголосуем все — за.

Давайте придумаем деспота,
придумаем, как захотим.
Потом будет спрашивать не с кого,
коль вместе его создадим.

И пусть он над нами куражится
и пальцем грозит из тьмы,
пока наконец не окажется,
что с а м и им созданы мы.

* * *

Чувствую: пора прощаться.
Всё решительно к тому.
Не угодно ль вам собраться
у меня, в моем дому?

Будут ужин, и гитара,
и слова под старину.
Я вам буду за швейцара —
ваши шубы отряхну.

И, за ваш уют радея,
как у нас теперь в ходу,
я вам буду за лакея
и за повара сойду.

Приходите, что вам стоит!
Путь к дверям не занесен.
Оля в холле стол накроет
на четырнадцать персон.

Ни о чем не пожалеем,
и, с бокалом на весу,
я последний раз хореем
тост за вас произнесу.

Нет, не то чтоб перед светом
буйну голову сложу..
Просто, может, и поэтом
вам при этом послужу.

Был наш путь не слишком гладок.
Будет горек черный час...
Дух прозренья и загадок
пусть сопровождает нас.

Я пишу исторический роман

В. Аксенову

В склянке темного стекла
из-под импортного пива
роза красная цвела
гордо и неторопливо.
Исторический роман
сочинял я понемногу,
пробиваясь как в туман
от пролога к эпилогу.

Были дали голубы,
было вымысла в избытке,
и из собственной судьбы
я выдергивал по нитке.
В путь героев снаряжал,
наводил о прошлом справки
и поручиком в отставке
сам себя воображал.

Вымысел — не есть обман.
Замысел — еще не точка.
Дайте дописать роман
до последнего листочка.
И пока еще жива
роза красная в бутылке,

дайте выкрикнуть слова,
что давно лежат в копилке:

каждый пишет, как он слышит.
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет,
не стараясь угодить...
Так природа захотела.
Почему?
Не наше дело.
Для чего?
Не нам судить.

* * *

Сестра моя прекрасная, Натела,
прошли года, а ты помолодела —
так чист и ясен пламень глаз твоих...
Возьми родную речь, горбушку хлеба,
и эти облака, и это небо
и раздели на нас, на шестерых.

Вот заповедь ушедшего поэта,
чья песня до конца еще не спета.
Сестра моя, всё — только впереди!
Пускай завистникам пока нейдет...
Галактион когда-нибудь вернется,
он просто задержался по пути.

Средь океана слов и фраз напрасных,
не столь прекрасных, сколько безопасных,
как острова лежат его слова,
спешит перо как будто пред грозой...
Его глаза подернуты слезой:
поэты плачут — нация жива.

Чаепитие на Арбате

Пейте чай, мой друг старинный,
забывая бег минут.
Желтой свечкой стеаринной
я украшу ваш уют.

Не грустите о поленьях,
о камине и огне...
Плед шотландский на коленях,
занавеска на окне.

Самовар, как бас из хора,
напевает в вашу честь.
даже чашка из фарфора
у меня, представьте, есть.

В жизни выбора не много:
кому — день, а кому — ночь.
Две дороги от порога:
одна — в дом, другая — прочь.

Нынче мы — в дому прогретом,
а не в поле фронтовом,
не в шинелях, и об этом
лучше как-нибудь потом.

Мы не будем наши раны
пересчитывать опять.
Просто будем, как ни странно,
улыбаться и молчать.

Я для вас, мой друг, смешаю
в самый редкостный букет
пять различных видов чая
по рецептам прежних лет.

Кипятком крутым, бурлящим
эту смесь залью для вас,
чтоб бывшее с настоящим
не сливалось хоть сейчас.

Настояться дам немножко,
осторожно процежу
и серебряную ложку
рядом с чашкой положу.

Это тоже вдохновенье...
Но, склонившись над столом,
на какое-то мгновенье
всё же вспомним о былом:

над безумною рекою
пулеметный ливень сек,
и холодною щекою
смерть касалась наших щек.

В битве выбор прост до боли:
или пан, или пропал...
А потом, живые, в поле
мы устроили привал.

Нет, не то чтоб пировали,
а, очухавшись слегка,
просто душу согрели
кипятком из котелка.

Разве есть напиток краше?
Благодарствуй, котелок!
Но встретал в блаженство наше
чей-то горький монолог:

„Как бы ни были вы святы,
как ни праведно житье,
вы с ума сошли, солдаты:
это — дрянь, а не питье!

Вас забывчивость погубит,
равнодушие вас убьет:
тот, кто крепкий чай разлюбит,
сам предаст и не поймет...”

Вы представьте, друг любезный,
как казались нам смешны
парадоксы те из бездны
фронтowego сатаны.

В самом деле, что — крученный
чайный лист — трава и сор
пред планетой, обреченной
на страданье и разор?

Что — напиток именитый?..
Но, средь крови и разлук,
целый мир полузабытый
перед нами ожил вдруг.

Был он теплый и прекрасный...
Как обида нас ни жгла,
та сентенция напрасной,
очевидно, не была.

Я клянусь вам, друг мой давний,
не случайны с древних лет
эти чашки, эти ставни,
полумрак и старый плед,

и счастливый час покоя,
и заварки колдовство,
и завидное такое
мирной ночи торжество:
разговор, текущий скупно,
и как будто даже скука,
но... не скука — естество.

Песенка кавалергарда

Кавалергарды, век недолог,
и потому так сладок он.
Поет труба, откинут полог,
и где-то слышен сабель звон.
Еще рокочет голос струнный,
но командир уже в седле...
Не обещайте деве юной
любви вечной на земле!

Течет шампанское рекою,
и взгляд туманится слегка,
и всё как будто под рукою,
и всё как будто на века.
Но как ни сладок мир подлунный —
лежит тревога на челе...
Не обещайте деве юной
любви вечной на земле!

Напрасно мирные забавы
продлить пытаетесь, смеясь.
Не раздобыть надежной славы,
покуда кровь не пролилась...
Крест деревянный иль чугунный
назначен нам в грядущей мгле...
Не обещайте деве юной
любви вечной на земле

Кабинеты моих друзей

Что-то дождичек удач падает не часто.
Впрочем, жизнью и такой стоит дорожить.
Скоро все мои друзья выбьются в начальство,
и, наверно, мне тогда станет легче жить.

Робость давнюю свою я тогда осилю.
Как пойдут мои дела — можно не гадать:
зайду к Юре в кабинет, загляну к Фазилю,
и на сердце у меня будет благодать.

Зайду к Белле в кабинет, скажу: „Здравствуй, Белла!”
Скажу: „Дело у меня, помоги решить...”
Она скажет: „Ерунда, разве это дело?..”
И, конечно, сразу мне станет легче жить.

Часто снятся по ночам кабинеты эти,
не сегодняшние, нет; завтрашние, да:
самовары на столе, дама на портрете...
В общем, стыдно по пути не зайти туда.

Города моей страны все в леса одеты,
звук пилы и топора трудно заглушить:
может, это для друзей строят кабинеты —
вот построят, и тогда станет легче жить.

Боярышник „Пастушья шпора”

Боярышник „Пастушья шпора” —
моя надежда и опора,
мой Росинант, мое седло...
Куда бы время ни текло,
от дружеского разговора
в душе становится светло,
и нету места в ней для вздора.

Душа — зеркальное стекло:
два силуэта в ней прекрасных,
враждующих и несогласных.
Мне холодно, а им тепло.

Тот маленький из них, который
как клерк из маленькой конторы,
довольный маленьким бытjem,
как узник — коркой и битьем,
такой, с иголочки одетый,
влюбленный в женщину до слез...
И как букеты белых роз
несущий белые манжеты...

И тот большой из них, который
готов толкнуть меня на споры

легко, играючи, со зла,
как волк в кольце охрипшей своры,
не знающий, что жизнь прошла...

Бесчинствуйте, кому охота!
А у меня одна забота:
туда отправиться скорей,
где тянется от косогора
боярышник „Пастушья шпора”
рукой своей
к слезе моей.

* * *

Ф. Искандеру

Быстро молодость проходит, дни счастливые крадет.
Что назначено судьбою — обязательно случится:
то ли самое прекрасное в окошко постучится,
то ли самое напрасное в объятия упадет.

Так не делайте ж запасов из любви и доброты
и про черный день грядущий не копите милосердь:
пропадет ни за понюшку ваше горькое усердь,
лягут ранние морщины от напрасной суеты.

Жаль, что молодость мелькнула, жаль, что старость
коротка.
Всё теперь как на ладони: лоб в поту, душа в ушибах...
Но зато уже не будет ни загадок, ни ошибок —
только ровная дорога до последнего звонка.

Две жизни прожить не дано,
два счастья — затея пустая.
Из двух выпадает одно —
такая уж правда простая.

Кому проиграет труба
прощальные в небо мотивы,
кому улыбнется судьба,
а он улыбнется счастливый.

Пожелание друзьям

Ю. Трифонову

Давайте восклицать, друг другом восхищаться.
Высокопарных слов не стоит опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты —
ведь это всё любви счастливые моменты.

Давайте горевать и плакать откровенно
то вместе, то поврозь, а то попеременно.
Не нужно придавать значения злословью —
поскольку грусть всегда соседствует с любовью.

Давайте понимать друг друга с полуслова,
чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова.
Давайте жить, во всем друг другу потакая, —
тем более что жизнь короткая такая.

***Божественная Суббота,
или Стихи о том, как нам с Зиновием
Гердтом в одну из суббот не было куда
торопиться***

Божественной Субботы
хлебнули мы глоток.
От празднеств и работы
закрылись на замок.
Ни суетная дама,
ни улиц мельгешня
нас не коснутся, Зяма,
до середины дня.

Как сладко мы курили!
Как будто в первый раз
на этом свете жили
и он сиял для нас.
Еще придут заботы,
но главное в другом:
божественной Субботы
нам терпкий вкус знаком!

Уже готовит старость
свой неперенный суд.
А много ль нам досталось
за жизнь таких минут?

На пышном карнавале
торжественных невзгод
мы что-то не встречали
божественных суббот.

Ликуй, мой друг сердечный,
сдаваться не спеши,
пока течет он, грешный,
неспешный пир души.
Дыши, мой друг, свободой...
Кто знает, сколько раз
еще такой субботой
наш век одарит нас.

* * *

Ю. Левитанскому

Заезжий музыкант целуется с трубою,
пассажи по утрам, так просто, ни о чем...
Он любит не тебя. Опомнись. Бог с тобою.
Прижмись ко мне плечом,
прижмись ко мне плечом.

Живет он третий день в гостинице районной,
где койка у окна — всего лишь по рублю,
и на своей трубе, как чайник, раскаленной
вздыхает тяжело...
А я тебя люблю.

Ты слушаешь его задумчиво и кротко,
как пенье соловья, как дождь и как прибор.
Его большой трубы простуженная глотка
отчаянно хрипит. (Труба, трубы, трубой...)

Трубач играет гимн, трубач потеет в гамме,
трубач хрипит свое и кашляет, хрипя...
Но как портрет судьбы — он весь в оконной раме,
да любит не тебя...
А я люблю тебя.

Дождусь я лучших дней и новый плащ надену,
чтоб пред тобой проплыть, как поздний лист, дрожа...
Не много ль я хочу, всему давая цену?
Не сладко ль я живу, тобой лишь дорожа?

Тебя не соблазнить ни платьями, ни снедью:
заезжий музыкант играет на трубе!
Что мир весь рядом с ней, с ее горячей медью?..
Судьба, судьбы, судьбе, судьбою, о судьбе...

* * *

А мы с тобой, брат, из пехоты.
А летом лучше, чем зимой.
С войной покончили мы счеты...
Бери шинель —
пошли домой.

Война нас гнула и косила.
Теперь конец и ей самой.
Четыре года мать без сына...
Бери шинель —
пошли домой.

Мы все — войны шальные дети:
и генерал и рядовой.
Опять весна на белом свете...
Бери шинель —
пошли домой.

К золе и пеплу наших улиц
опять, опять, товарищ мой,
скворцы пропавшие вернулись...
Бери шинель —
пошли домой.

А ты с закрытыми глазами
спишь под фанерною звездой.
Вставай, вставай, однополчанин,
бери шинель —
пошли домой.

Что я скажу твоим домашним?
Как встану я перед вдовой?
Неужто клясться днем вчерашним?..
Бери шинель —
пошли домой.

* * *

О. Чухонцеву

Я вновь повстречался с Надеждой – приятная
встреча.

Она проживает всё там же – то я был далече.
Всё то же на ней из поплина счастливое платье,
всё так же горящ ее взор, устремленный в века...
Ты наша сестра, мы твои непутевые братья,
и трудно поверить, что жизнь коротка.

А разве ты нам обещала чертоги златые?
Мы сами себе их рисуем, пока молодые,
мы сами себе сочиняем и песни и судьбы,
и горе тому, кто одернет не вовремя нас...
Ты наша сестра, мы твои торопливые судьи,
нам выпало счастье, да скрылось из глаз.

Когда бы любовь и надежду связать воедино,
какая бы (трудно поверить) возникла картина!
Какие бы нас миновали напрасные муки,
и только прекрасные муки глядели б с чела...
Ты наша сестра. Что ж так долго мы были в разлуке?
Нас юность сводила, да старость свела.

* * *

Стоит задремать немного,
сразу вижу Самого.
Рядом, по ранжиру строго,
собутыльнички его.

Сталин трубочку раскурит —
станут листья опадать.
Сталин бровь свою нахмурит —
трем народам не бывать.

Что ничтожный тот комочек
перед ликом всей страны?
А усы в вине намочит —
все без удержу пьяны.

Вот эпоха всем эпохам!
Это ж надо — день ко дню,
пусть не сразу, пусть по крохам,
обучала нас вранью.

И летал усатый сокол,
целый мир вгоняя в дрожь.
Он народ ценил высоко,
да людей не ставил в грош.

Нет, ребята, вы не правы
в объяснение прошлых драм,
будто он для нашей славы
нас гонял по лагерям.

С его именем ходили
(это правда) на врага,
но ведь и друг дружку били
(если правда дорога).

А дороги чем мостили?
А за всё платили чем?
Слишком быстро всё простили,
позабыли между тем...

Нет, ребята, хоть упрямы
демонстрации любви,
но следы минувшей драмы
всё равно у нас в крови.

Чем история богата,
тем и весь народ богат...
Нет, вы знаете, ребята,
Сталин очень виноват.

Сентябрь

Чем дальше от Москвы, тем чище дух крестьянства,
тем голубей вода, тем ближе к небесам.
Гармоники лесной завидно постоянство,
и гармониста чуб склоняется к басам.

Мелькают пальцы в ряд, рискованно и споро,
рождается мотив в сентябрьском огне,
и синие глаза как синие озера...
Но бремя тяжких дум на их песчаном дне.

Как сладко в том краю, чужих невзгод не зная.
Чем ближе к небесам — тем ненаглядней твердь.
И плачет о своем гармоника лесная,
и на ее слезу попробуй не ответь.

Дом на Мойке

Меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига,
барона,
не просто тротуар исхоженный, а поле – вечно
и огромно,
вся жизнь, как праздник запоздалый, как
музыкант в краю чужом,
отрезок набережной давней, простертой за его
окном.

Меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига,
барона,
всё уместилось понемногу: его любовь, его корона,
беспомощность – его кормилица, и перевозчика
весло...
О чем, красotka современная, ты вдруг вздохнула
тяжело?

Меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига,
барона,
как между Было и Не стало – нерукотворная
черта.
Ее мы топчем упоенно, и преступаем окрыленно,
и кружимся, и кувыркаемся, и не боимся ни черта.

Прогуливаясь вдоль по набережной, предвидеть
ничего нельзя.
Как просто тросточкой помахать,
раскланиваясь и скользя!
Но род людской в прогулке той не уберется от урона
меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига,
барона.

Пиратская лирическая

В ночь перед бурей на мачте горят святого Эльма
свечки,
отогревают наши души за все минувшие года.
Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки
как овечки,
да только в Портленд воротиться нам не придется
никогда.

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай несет
нас черный парус,
пусть будет крепок ром ямайский, всё остальное
ерунда.
Когда воротимся мы в Портленд, ей-Богу, я во всем
покаюсь.
Да только в Портленд воротиться нам не придется
никогда.

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец
помрет со страху,
Ни Бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда.
Когда воротимся мы в Портленд, клянусь — я сам
взбегу на плаху.
Да только в Портленд воротиться нам не придется
никогда.

Что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото
как братья,
поскольку денежки чужие не достаются без труда.
Когда воротимся мы в Портленд, нас примет родина
в объятия.
Да только в Портленд воротиться не дай нам, Боже,
никогда.

* * *

Вперед идет сержант.
На груди — лиловый бант.
А в глазах его печальных — и надежда и талант.

Он не любит воевать.
Он не хочет убивать.
Он ничьи не может жизни у природы воровать.

А за ним идет солдат
не высок, не бородат.
Он такому командиру и признателен и рад.

У него в дому жена.
Не нужна ему война.
А уж если разобраться, то кому она нужна?

Впрочем, эти двое — сон
в обрамлении погон,
исключение из правил, а не норма, не закон.

Ведь у прочих всё не так:
все — вояки из вояк,
а с вояками такими уцелеть нельзя никак.

* * *

В. Некрасову

**Мы стоим с тобой в обнимку возле Сены,
как статисты в глубине парижской сцены,
очень скромно, натурально, без прикрас...
Что-то вечное проходит мимо нас.**

**Расставались мы где надо и не надо —
на вокзалах и в окопах Сталинграда
на минутку и навеки, и не раз...
Что-то вечное проходит мимо нас.**

* * *

Канадский берег под моим крылом.
Мое крыло над берегом нависло.
Арбат — мой дом, но и весь мир — мой дом...
Всё остальное не имеет смысла.

* * *

Понедельник, после вторник,
Среда тоже...
Тот начальник, этот дворник —
рожа к роже.

Четверг, пятница, суббота,
воскресенье...
Кому честь, кому работа,
мне спасенье.

Кликну мальчиков с Арбата,
что живые.
Они все свои ребята
золотые.

Пойдем к Зине, пойдем к Саше,
пойдем к Насте...
Это барышни все наши —
с ними счастье.

* * *

Я живу в ожидании краха,
унижений и всяких утрат.
Я, рожденный в империи страха,
даже празднествам светлым не рад.

Всё кончается на полуслове
раз, наверно, по сорок на дню...
Я, рожденный в империи крови,
и своей-то уже не ценю.

* * *

Красный снегирь на июньском суку —
шарфик на горлышке.
Перебороть соберусь на муку
хлебные зернышки.

И из муки, из крупитчатой той,
выпеку, сделаю
крендель крылатый, батон золотой,
булочку белую.

Или похвастаюсь перед тобой
долею тяжкою:
потом и болью, соленой судьбой,
горькой черняшкою.

А уж потом погляжу между строк
(так, от безделия),
как они лягут тебе на зубок,
эти изделия.

* * *

Я горой за сюжетную прозу,
за красотку, что высадит розу
под окошком, у самых дверей.
Она холит ее, поливает,
поливает, как будто справляет
день рождения розы своей.

Распускается каждая ветка.
А потом появляется некто
неизвестно зачем, почему.
Выбрав время и место, и позу,
наша барышня красную розу,
розу красную дарит ему.

Дверь распахнута. Пропасть разверста.
Всё там есть, и всему там есть место:
и любви, и войне, и суме...
И бушует житейское море,
и спасается кто-то от горя,
но стреляется кто-то во тьме.

К сожалению, всё отцветает.
Наша жизнь — она тоже ведь тает
и всегда невпопад, как на грех.

Даже если решение не близко,
всё зависит от степени риска,
от таланта зависит успех.

Не ищите сюжеты в комодке,
а ищите сюжеты в природе.
Без сюжета ведь прозы-то нет.
Да, бывает, что всё — под рукою:
и идеи, и мысли — рекою,
даже деньги... Но нужен сюжет.

* * *

Сталин Пушкина листал,
суть его понять старался,
но магический кристалл
непрозрачным оставался.

Что увидишь сквозь него
даже острым глазом горца?
Тьму – и больше ничего,
но не душу стихотворца.

Чем он покорял народ,
если тот из тьмы и света
гимны светлые поет
в честь погибшего поэта?

Да, скрипя своим пером,
чем он потрафлял народу?
Тем, что воспевал свободу?..
Но, обласканный царем,
слыл оппозиционером,
был для юношей примером
и погиб в тридцать седьмом!

Снова этот год проклятый,
ставший символом уже!

Был бы, скажем, тридцать пятый —
было б легче на душе.

Может, он — шпион английский,
если с Байроном дружил?
Находил усладу в риске —
вот и голову сложил...

Впрочем, может, был агентом
эфиопского царя?..
Жил, писал о том и этом,
эпиграммами соря...

Над Москвой висела полночь,
стыла узкая кровать,
Но Иосиф Виссарьоныч
не ложился почивать.

Всё он мог: и то, и это,
расстрелять, загнать в тюрьму,
только вольный дух поэта
неподвластен был ему.

Он в загадках заблудился
так, что тошно самому...
И тогда распорядился
вызвать Берия к нему.

* * *

Часики бьют так задумчиво,
медленно, не торопясь.
И в ожидании лучшего
жилка на лбу напряглась,
хоть понимаю, естественно,
счастья желая себе:
сложится всё соответственно
вере, слезам и судьбе.

* * *

Вот король уехал на войну. Он Москву покинул.
Иль не ту он карту подобрал, из колоды вынул?
Как же без него теперь Москва, сам он без Москвы?
Ни из сердца не идет она, ни из головы.

А какую видится она из окна теплушки?
Тишина на улочках ее, на западе — пушки.
Распахнулась скорбная тетрадь, а запад в огне.
Дворник у парадного крыльца, словно свет в окне.

До чего ж кровавая война! Нет ее кровавей.
Но, покуда он бежит, хрипя о своей державе,
перед ним — лишь мамины глаза, да судьба его,
дворик детства, крашенная дверь... Больше ничего.

Державин

Запах столетнего меда,
слова и золота вязь...
Оды державинской мода
снова в цене поднялась.

Сколько ценителей тонких,
сколько приподнятых крыл!..
Видишь, как зреет в потомках
имя твое, Гавриил?

Будто под светом вечерним
встало оно из земли...
Вот ведь и книжные черви
справиться с ним не смогли.

Стоит на миг оглянуться,
встретиться взором с тобой —
слышно: поэты клянутся
кровью твоей голубой.

Мнился уже обреченным
утлый огарок свечи...
Золото резче на черном.
Музыка звонче в ночи.

Гуще толпа у порога,
тверже под ними земля...
Нет, их не так уж и много.
Да ведь и всё от нуля.

* * *

Шарманка старая крутилась,
катилось жизни колесо.
Я пил вино за вашу милость
и за минувшее за всё.

За то, что в прошлом не случилось
на бранном поле помереть,
а что разбилось — то разбилось,
зачем осколками звенеть?

Шарманщик был в пальто потертом,
он где-то в музыке витал.
Моим ладоням, к вам простертым,
значенья он не придавал.

Я вас любил, но клялся прошлым,
а он шарманку обнимал,
моим словам, земным и пошлым,
с тоской рассеянной внимал.

Текла та песня как дорога,
последних лет не торопя.
Все звуки были в ней от Бога —
ни жалкой нотки от себя.

Но падали слова убого,
живую музыку губя:
там было лишь одно от Бога,
всё остальное — от себя.

* * *

Солнышко сияет, музыка играет.
Отчего ж так сердце замирает?
Там, за поворотом, недурен собою,
полк гусар стоит перед толпою.
Барышни краснеют, танцы предвкушают,
кто кому достанется, решают.

Но полковник главный на гнедой кобыле
говорит: „Да что ж вы всё забыли!
Танцы были в среду, нынче воскресенье,
с четверга — война, и нет спасенья.
А на поле брани смерть гуляет всюду.
Может, не вернемся, врать не буду!..”

Барышни не верят, в кулачки смеются,
невдомек, что вправду расстанутся.
Вы, мол, повоюйте, если вам охота,
да не опоздайте из похода...
Солнышко сияет, музыка играет,
отчего ж так сердце замирает?

На смерть Бориса Балтера

Не всё ль равно, что нас сведет в могилу — пуля иль
простуда?
Там, верно, очень хорошо: ведь нет дурных вестей
оттуда.
Я жалоб не слышал от них, никто не пожелал
вернуться.
Они молчат, они в пути. А плачут те, что остаются.

Они молчат Бог весть о чем — иные берега пред ними,
и нету разницы для них между своими и чужими.
К великой тайне приобщась, они уходят постепенно
под скорбный марш,
под вечный марш,
под польский марш,
под марш Шопена.

* * *

Оркестр играет боевые марши,
стараются ни свет и ни заря.
Не лейте слез, родимые мамыши,
на крылья наши слез не лейте зря!

В пророчества их горькие не веря,
мы ждали той минуты золотой,
чтоб с птицы зла попадали перья,
когда оркестр ударит духовой.

Какие нас морочили обманы!
Какие пули жалили во мгле!
А сами мы, юны и безымянны,
за что потом покоились в земле?

А всё ведь та музыка удалая,
мелодии знакомой благодать
послышится, свиданье отдаляя,
сближая с тем, чего не миновать.

И свистнут пули будто бы впервые,
и выйдет смерть и поглядит в глаза...
А там — опять оркестры духовые
смешают труб и меди голоса.

* * *

Антон Палыч Чехов однажды заметил,
что умный любит учиться, а дурак учить.
Сколько дураков в этой жизни я встретил!
Мне давно пора уже орден получить.

Дураки обожают собираться в стаю.
Впереди — главный во всей красе.
В детстве я верил, что однажды встану,
а дураков нету: улетели все.

Ах детские сны мои — какая ошибка,
в каких облаках я по глупости витал!
У природы на устах коварная улыбка...
Может быть, чего-то я не рассчитал.

А умный в одиночестве гуляет кругами,
он ценит одиночество превыше всего.
И его так просто взять голыми руками...
Скоро их поволоют всех до одного.

Когда ж их всех поволоют, наступит эпоха,
которую не выдумать и не описать.
С умным хлопотно, с дураком плохо.
Нужно что-то среднее, да где ж его взять?

Дураком быть выгодно, да очень не хочется.
Умным очень хочется, да кончится битьем...
У природы на устах коварные пророчества.
Но может быть, когда-нибудь к среднему придем.

* * *

В. Войновичу

О фантазии на темы
торжества добра над злом!
В рамках солнечной системы
вы отправлены на слом.

Торжествует эта свалка
и грохочет, как прибой...
Мне фантазий тех не жалко —
я грущу о нас с тобой.

* * *

Кириллу Померанцеву

Как хорошо, что Зворыкин уехал
и телевиденье там изобрел!
Если бы он из страны не уехал,
он бы, как все, на Голгофу взошел.

И не сидели бы мы у экранов,
и не пытались бы время понять,
и откровения прежних обманов
были бы нам недоступны опять.

Как хорошо, что уехал Набоков,
тайны разлуки ни с кем не деля.
Как пофартило! А скольких пророков
не защитила родная земля!

Был этот фарт ну не очень-то сладок.
Как ни старалась беда за двоих,
всё же не выпали в мутный осадок
тернии их и прозрения их.

Как хорошо, что в прозрении трудном
наши глаза застигает слеза!
Даже и я, брат, в моем неуютном
благополучии зрю небеса.

Что же еще остается нам, кроме
этих, еще не разбитых оков?
Впрочем, платить своей болью и кровью —
это ль не жребий во веки веков?

* * *

У Спаса на Кружке забыто наше детство.
Что видится теперь в раскрытое окно?
Всё меньше мест в Москве, где можно нам погреться,
всё больше мест в Москве, где пусто и темно.

Мечтали зло унять и новый мир построить,
построить новый мир, иную жизнь начать.
Всё меньше мест в Москве, где есть о чем поспорить,
всё больше мест в Москве, где есть о чем молчать.

Куда-то всё спешит надменная столица,
с которою давно мы перешли на „вы”...
Всё меньше мест в Москве, где помнят наши лица,
всё больше мест в Москве, где и без нас правы.

* * *

Как время беспощадно,
дела его и свет.
Ну я умру, ну ладно —
с меня и спросу нет.

А тот, что с нежным пухом
над верхнею губой,
с еще нетвердым духом,
разбуженный трубой, —

какой счастливой схваткой
разбужен он теперь,
подкованною пяткой
захлопывая дверь?

Под звуки духовые
не ведая о том,
как сладко всё впервые,
как горько всё потом...

Проводы у военкомата

Б. Биргеру

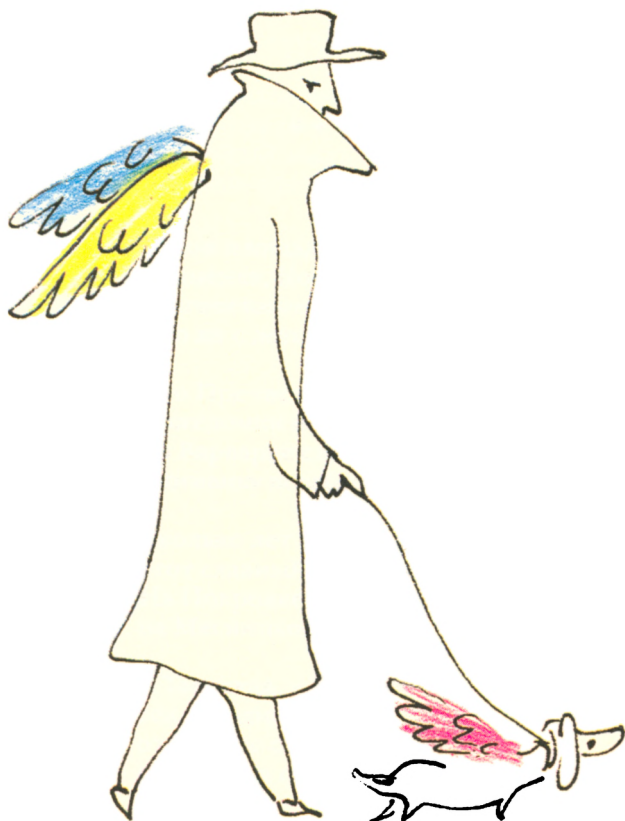
Вот оркестр духовой. Звук медовый.
И пронзителен он так, что — ах...
Вот и я, молодой и бедовый,
с черным чубчиком, с болью в глазах.

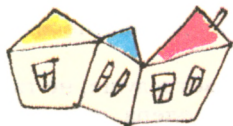
Машут ручки нелепо и споро,
крики скорбные тянутся вслед,
и безумцем из черного хора
нарисован грядущий сюжет.

Жизнь музыкой бравурной объята —
всё о том, что судьба пополам,
и о том, что не будет возврата
ни к любви и ни к прочим делам.

Раскаляются медные трубы —
превращаются в пламя и дым.
И в улыбке растянута губы,
чтоб запомнился я молодым.

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ





* * *

О. В. Волкову

Гомон площади Петровской,
Знаменка, Коровий вал —
драгоценные обноски...
Кто их с детства не знавал?

Кто Пречистенки не холил,
Божедомки не любил,
по Варварке слез не пролил,
Якиманку позабыл?

Сколько лет без меры длился
этот славный карнавал!
На Покровке я молился,
на Мясницкой горевал.

А Тверская, а Тверская,
сея праздник и тоску,
от себя не отпуская,
проводила сквозь Москву.

Не выходят из сознания
(хоть иные времена)
эти древние названья,
словно дедов имена.

И живет в душе, не тая,
пусть нелепа, да своя,
эта звонкая, святая,
поредевшая семья.

И в мечте о невозможном
словно вижу наяву,
что и сам я не в Безбожном,
а в Божественном живу.

О Володе Высоцком

Марине Владимировне Поляковой

О Володе Высоцком я песню придумать решил:
вот еще одному не вернуться домой из похода.
Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил...
Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа.

Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом
отправляться и нам по следам по его по горячим.
Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон,
ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем.

О Володе Высоцком я песню придумать хотел,
но дрожала рука и мотив со стихом не сходился...
Белый аист московский на белое небо взлетел,
черный аист московский на черную землю спустился.

Еще один романс

В моей душе запечатлен портрет одной прекрасной дамы.
Ее глаза в иные дни обращены.
Там хорошо, и лишних нет, и страх не властен над годами,
и все давно уже друг другом прощены.

Еще покуда в честь нее высокий хор поет хвалебно,
и музыканты все в парадных пиджаках.
Но с каждой нотой, Боже мой, иная музыка целебна...
И дирижер ломает палочку в руках.

Не оскорблю своей судьбы слезой поспешной
и напрасной,
но вот о чем я сокрушаюсь иногда:
ведь что мы сами, господа, в сравненье с дамой той
прекрасной,
и наша жизнь, и наши дамы, господа?

Она и нынче, может быть, ко мне, как прежде,
благосклонна,
и к ней за это благосклонны небеса.
Она, конечно, пишет мне, но... постарели почтальоны,
и все давно переменялись адреса.

* * *

Летняя бабочка вдруг закружилась над лампой
каждому хочется ввысь вознестись над фортуной
полночной:
непрочной.
Летняя бабочка вдруг пожелала ожить в декабре,
не разглагольствуя, не помышляя о Зле и Добре.

Может быть, это не бабочка вовсе, а ангел небесный
кружит и кружит по комнате тесной с надеждой чудесной:
разве случайно его пребывание в нашей глуши,
если мне видятся в нем очертания вашей души?

Этой порою в Салослове — стужа, и снег, и метели.
Я к вам в письме пошутил, что, быть может, мы зря
не взлетели:
нам, одуревшим от всяких утрат и от всяких торжеств,
самое время использовать опыт крылатых существ.

Нас, тонконогих, и нас, длинношеих, нелепых,
очкастых,
терпят еще и возносят еще при свиданьях
нечастых.

Не потому ли, что нам удалось заработать горбом
точные знания о расстоянье меж Злом и Добром?

**И оттого нам теперь ни к чему вычисления эти.
Будем надеяться снова увидеться в будущем лете:
будто лишь там наша жизнь так загадочно не убывает...
Впрочем, вот ангел над лампой летает... Чего не бывает?**

* * *

Ю. Даниэлю

Не успел на жизнь обидеться —
вся и кончилась почти.
Стало реже детство видеться,
так — какие-то клочки.

И уже не спросишь — не с кого.
Видно, каждому — свое.
Были песни пионерские,
было всякое вранье.

И по шучьему велению,
по лесам и по морям
шло народонаселение
к магаданским лагерям.

И с фанерным чемоданчиком
мама ехала моя
удивленным неудачником
в те богатые края.

Забываются минувшие
золотые времена;
как монетки потонувшие,
не всплывут они со дна.

Память пылью позасыпало?
Постарел ли? Не пойму:
вправду ль нам такое выпало?
Для чего? И почему?

Почему нам жизнь намерила
вместо хлеба отрубей?..

Что Москва слезам не верила —
это помню. Хоть убей.

Кухня

Рождение бифштекса — само волшебство.
Брильянтовых капель без счета.
А эта, которая жарит его,
похожа на рыжего черта.

И этот, из пара родившийся черт,
азы про себя повторяет,
и жарит, и парит, и льет, и печет,
и фартуком лоб утирает.

Она в ароматы смолы и огня
себя погрузить не страшится,
и плавно святая ее пятерня,
как розовый ангел, кружится.

И если в окно заглянуть со двора —
какая бесовская штука:
в чугунной ладье громоздится гора
под кольцами белого лука.

Там всё перемешано в соке его,
в прожилках его благородных:
и гибель, и жизни моей торжество,
и хриплые крики голодных.

Август в Латвии

Булочки с тмином. Латышский язык.
Красные сосны. Воскресные радости.
Всё, чем живу я, к чему я приник
в месяце августе, в месяце августе.

Не унижайся, видземский пастух,
пестуй осанку свою благородную,
дальней овчарни торжественный дух
пусть тебе будет звездой путеводною.

Не зарекайся, видземский король,
ни от обид, ни от бед, ни от хворости,
не обольщай себя волей, уволь:
вольному — воля, гордому — горести.

Тот, кто блажен, не боится греха.
Бедность и праведность перемежаются.
Дочку отдай за того пастуха,
пусть два источника перемешаются.

Между удачей, с одной стороны,
и неудачею жизнь моя мечется
в сопровождении медной струны
августа месяца, августа месяца.

* * *

У поэта соперников нету
ни на улице и ни в судьбе.
И когда он кричит всему свету,
это он не о вас — о себе.

Руки тонкие к небу возносит,
жизнь и силы по капле губя.
Догорает, прощения просит:
это он не за вас — за себя.

Но когда достигает предела
и душа отлетает во тьму...
Поле пройдено. Сделано дело.
Вам решать: для чего и кому.

То ли мед, то ли горькая чаша,
то ли адский огонь, то ли храм...
Всё, что было его, — нынче ваше.
Всё для вас. Посвящается вам.

Б. Сарнову

С последней каланчи, в Сокольниках стоящей,
никто не смотрит вдаль на горизонт горящий,
никто не смотрит вдаль, все опускают взор.
На пенсии давно усатый брандмайор.

Я плачу не о том, что прошлое исчезло:
ведь плакать о былом смешно и бесполезно.
Я плачу не о том, что кануло во мгле,
как будто нет услад и ныне на земле.

Я плачу о другом — оно покуда с нами,
оно у нас в душе, оно перед глазами,
еще горяч и свеж его прекрасный след —
его не скроет ночь и не проявит свет.

О чем бы там перо, красуясь, ни скрипело —
душа полна утрат, она не отскорбела.
И как бы ни лились счастливые слова —
душа полна потерь, хоть, кажется, жива.

Ведь вот еще вчера, крылаты и бывалы,
сидели мы рядом, и красные бокалы

у каждого из нас — в изогнутой руке...
Как будто бы пожар — в прекрасном далеке.

И на пиру на том, на празднестве тягучем,
я, видно, был один, как рекрут, не обучен,
как будто бы не мы метались в том огне,
как будто тот огонь был неизвестен мне.

* * *

Ю. Каряжину

Ну что, генералиссимус прекрасный,
потомки, говоришь, к тебе пристрастны?
Их не угомонить, не упросить...
Одни тебя мордуют и поносят,
другие всё малюют, и возносят,
и молятся, и жаждут воскресить.

Ну что, генералиссимус прекрасный?
Лежишь в земле на площади на Красной...
Уж не от крови ль красная она,
которую ты пригоршнями пролил,
пока свои усы блаженно холил,
Москву обозревая из окна?

Ну что, генералиссимус прекрасный?
Твои клешни сегодня безопасны —
опасен силуэт твой с низким лбом.
Я счета не веду былым потерям,
но, пусть в своем возмездье и умерен,
я не прощаю, помня о былом.

Воспоминание о Дне Победы

Была пора, что входит в кровь, и помнится, и снится.
Звенел за Сретенкой трамвай, светало на Мясницкой.
Еще пожар не оттудел, да я отвоевал
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.

Живые бросились к живым, и было правдой это,
любили женщину одну — она звалась Победа.
Казалось всем, что всяк уже навек отгоревал
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.

Он нашей собственностью был, и мы клялись Арбатом.
Еще не знали, кто кого объявит виноватым.
Как будто нас девятый вал отныне миновал
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.

Какие слезы на асфальт из круглых глаз катились,
когда на улицах Москвы в обнимку мы сходились —
и тот, что пули избежал, и тот, что наповал, —
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.

* * *

М. Козакову

Приносит письма письмоносец
о том, что Пушкин — рогоносец.
Случилось это в девятнадцатом столетье.
Да, в девятнадцатом столетье
влетели в окна письма эти,
и наши предки в них купались, словно дети.

Еще далече до дуэли.
В догадках ближние дурели.
Всё созревало, как нарыв на теле... Словом,
еще последний час не пробил,
но скорбным был арапский профиль,
как будто создан был художником Лунёвым.

Я знаю предков по картинкам,
но их пристрастие к поединкам —
не просто жажда проучить и отличиться,
но в кажущейся жажде мести
преобладало чувство чести,
чему с пеленок пофартило им учиться.

Загадочным то время было:
в понятие чести что входило?

Убить соперника и распрямиться сладко?
Но если дуло грудь искало,
ведь не убийство их ласкало...
И это всё для нас еще одна загадка.

И прежде чем решать вопросы
про сплетни, козни и доносы
и расковыривать причины тайной мести,
давайте-ка отложим это
и углубимся в дух поэта,
поразмышляем о достоинстве и чести.

Несчастье

Когда бы Несчастье явилось ко мне
в обличии рыцаря да на коне,
грозящем со мной не стесняться, —
я мог бы над ним посмеяться.

Когда бы оно мою жизнь и покой
пыталось разрушить железной рукой
и лик Его злом искажался, —
уж я бы над Ним потешался.

Но дело всё в том, что в природе Оно
неясною мерою растворено
и в тучке, и в птичке взлетевшей,
и в брани, что бросил сосед на ходу,
в усмешке, мелькнувшей в минувшем году,
в газете, давно пожелтевшей.

Но в том-то и дело, что нам не видать,
когда Ему выпадет нас испытать
на силу, на волю, на долю.
Как будто бы рядом и нету Его,
как будто бы нет вообще ничего —
а раны посыпаны солью.

Нельзя быть подверженным столь уж всерьез
предчувствиям горьким насмешек и слез,
возможной разлуки и смерти...

Гляди: у тебя изменилось лицо!

Гляди: ты боишься ступить на крыльцо,
и пальцы дрожат на конверте!

И всё ж не Ему достаются права,
и всё же бессильны его жернова:
и ты на ногах остаешься,
и, маленький, слабый, худой и больной,
нет-нет да объедешь Его стороной,
уйдешь от Него, увернешься.

Наверно, в амбарах души и в крови
хранятся запасы надежд и любви
(а даром они не даются).

И вот, утверждая свое торжество,
бывает, срываешь погоны с Него...

Откуда и силы берутся?

* * *

Черный ворон сквозь белое облако глянет —
значит, скоро кровавая музыка грянет.
В генеральском мундире стоит дирижер,
перед ним — под машинку остриженный хор.
У него — руки в белых перчатках.
Песнопенье, знакомое с давешних пор,
возникает из слов непечатных.

Постепенно вступают штыки и мортиры, —
значит, скоро по швам расползутся мундиры,
значит, скоро сподобимся есть за двоих,
забывать мертвецов и бояться живых,
прикрываться истлевшею рванью...
Лишь бы только не спугать своих и чужих,
то проклятья, то гимны горлана.

Разыгрался на славу оркестр допотопный.
Все наелись от пуза музыки окопной.
Дирижер дирижера спешит заменить.
Те, что в поле вповалку (прошу извинить),
с того ворона взоров не сводят,
и кого хоронить, и кому хоронить —
непонятно... А годы уходят.

Всё кончается в срок. Лишней крови хватает.
Род людской ведь не сахар: авось не растает.
Двое живы (покуда их вексель продлен),
третий (лишний, наверно) в раю погребен,
и земля словно пух под лопатой...
А над ними с прадедовых самых времен —
черный ворон, во всем виноватый.

Работа

Жест. Быстрый взгляд. Движение души.
На кончике ресницы — влага.
Отточены карандаши,
и приготовлена бумага.

Она бела, прохладна и гладка.
Друзья примолкли сиротливо.
А перспектива так сладка
в зеленом поле объектива.

Определяю день и час,
события изобретаю,
как ворон, вытаращив глаз,
над жертвою очередной витаю.

Нелепо скрючена рука,
искажены черты и поза...
Но перспектива так сладка!
Какая вызревает проза!

Уж целый лист почти совсем готов,
и вдруг как будто прозреваю:
как нищ и беден мой улов,
не те цветы ищу я и срываю.

И жар ловлю не от того огня,
и лгу по мелочам природе...
Что стоит помолиться за меня?
Да нынче вам не до молитвы вроде.

И вновь: Я. Злость. И трепет у виска.
И пот... Какой квартет отличный!
А перспектива так близка,
и сроки жизни безграничны.

Песенка о молодом гусаре

Грозной битвы пылают пожары,
и пора уж коней под седло.
Изготовились к схватке гусары:
их счастливое время пришло.
Впереди – командир, на нем новый мундир,
а за ним – эскадрон после зимних квартир.
А молодой гусар, в Амалию влюбленный,
он всё стоит пред ней коленопреклоненный.

Все погибли в бою. Флаг приспущен.
И земные дела не для них.
И летят они в райские кущи
на конях на крылатых своих.
Впереди – командир, на нем рваный мундир,
а за ним – тот гусар покидает сей мир.
Но чудится ему: по-прежнему влюбленный
он всё стоит пред ней коленопреклоненный.

Вот иные столетья настали,
и несчетно воды утекло,
и давно уже нет той Амальи,
и в музее пылится седло.
Позабыт командир – дам уездных кумир.
Жаждет новых потех просвещенный наш мир...
А юный тот гусар, в Амалию влюбленный,
опять стоит пред ней коленопреклоненный.

Надпись на камне

*Посвящается учащимся
33-й московской школы,
придумавшим слово „арбатство”*

Пускай моя любовь как мир стара, —
лишь ей одной служил и доверялся
я — дворянин с арбатского двора,
своим двором введенный во дворянство.

За праведность и преданность двору
пожалован я кровью голубою.
Когда его не станет — я умру,
пока он есть — я властен над судьбою.

Молва за гробом чище серебра
и вслед звучит музыкою прекрасной...
Но не спеши, фортуна, будь добра,
не выпускай моей руки несчастной.

Не плачь, Мария, радуйся, живи,
по-прежнему встречай гостей у входа...
Арбатство, растворенное в крови,
неистребимо, как сама природа.

Когда кирка, бульдозер и топор
сподобятся к Арбату подобраться
и правнуки забудут слово „двор” —
согрей нас всех и собери, арбатство.

Арбатские напевы

1

Всё кончается неумолимо.
Миг последний печален и прост.
Как я буду без вас в этом мире,
протяженном на тысячи верст,
где всё те же дома и деревья,
и метро, и в асфальте трава,
но иные какие-то лица,
и до вас достучишься едва?

В час, когда распускаются розы,
так остры обонянье и взгляд,
и забытые мной силуэты
в земляничных дворах шелестят,
и уже по-иному крылато
всё, что было когда-то грешно,
и спастись от вечной разлуки
унизительно мне и смешно.

Я унижен тобою, разлука,
и в изменника сан возведен,
и уже укоризны поспели
и слетаются с разных сторон,
что лиловым пером заграничным,
к меловым прикасаясь листам,

я тоскую, и плачу, и грежу
по святым по арбатским местам.

Да, лиловым пером из Риеки
по бумаге веду меловой,
лиловеет души отраженье —
этот оттиск ее белой,
эти самые нежность и робость,
эти самые горечь и свет,
из которых мы вышли, возникли.
Сочинились...
И выхода нет.

2

Ч. Амирэджиби

Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант.
В Безбожном переулке хиреет мой талант.
Вокруг чужие лица, неизвестные места.
Хоть сауна напротив, да фауна не та.

Я выселен с Арбата и прошлого лишен,
и лик мой чужеземцам не страшен, а смешон.
Я выдворен, затерян среди чужих судеб,
и горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб.

Без паспорта и визы, лишь с розою в руке
слоняюсь вдоль незримой границы на замке
и в те, когда-то мною обжитые края
всё всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

Там те же тротуары, деревья и дворы,
но речи несердечны и холодны пиры.

Там так же полыхают густые краски зим,
но ходят оккупанты в мой зоомагазин.

Хозяйская походка, надменные уста...
Ах, флора там всё та же, да фауна не та...
Я эмигрант с Арбата. Живу, свой крест неся...
Заледенела роза и облетела вся.

* * *

Всему времечко свое: лить дождю, Земле вращаться,
знать, где первое прозренье, где последняя черта...
Началась вдруг война — не успели попрощаться,
адресами обменяться не успели ни черта.

Где встречались мы потом? Где нам выпала прописка?
Где сходились наши души, воротясь с передовой?
На поверхности ль земли? Под пятой ли обелиска?
В гастрономе ли арбатском? В черной туче ль грозовой?

Всяк несправедный урок впрок затвержен и заучен,
ибо праведных уроков не бывает. Прах и тлен.
Руку на сердце кладя, разве был я невезучим?
А вот надо ж, сердце стынет в ожиданье перемен.

Гордых гимнов, видит Бог, я не пел окопной каше.
От разлук не зарекаюсь и фортуны не клянусь...
Но на мягкое плечо, на вечернее, на ваше,
если вы не возражаете, я голову склоню.

*Прогулки фрайеров **

Оле

По прихоти судьбы — Разносчицы даров —
в прекрасный день мне откровенья были.
Я написал роман „Прогулки фрайеров”,
и фрайера меня благодарили.

Они сидят в кружок, как пред огнем святым,
забытое людьми и богом племя,
каких-то горьких дум их овекает дым,
и приговор нашептывает время.

Они сидят в кружок под низким потолком.
Освистаны их речи и манеры.
Но вечные стихи затвержены тайком,
и сундучок сколочен из фанеры.

Наверно, есть резон в исписанных листах,
в затверженных местах и в горстке пепла...
О, как сидят они с улыбкой на устах,
прислушиваясь к выкрикам из пекла!

* В буквальном переводе с немецкого: франт, жених, а в обыденном смысле — мнение люмпена об интеллигенте.

Пока не замело следы на их крыльце
и ложь не посмеялась над судьбою,
я написал роман о них, но в их лице
о нас: ведь всё, мой друг, о нас с тобою.

Когда в прекрасный день Разносчица даров
вошла в мой тесный двор, бродя дворами,
я мог бы написать, себя переборов,
„Прогулки маляров”, „Прогулки поваров”...
Но по пути мне вышло с фрайерами.

Парижская фантазия

Т. Кулымановой

У парижского спаниеля лик французского короля,
не погибшего на эшафоте, а достигшего славы и лени:
набекрень паричок рыжеватый, милосердие в каждом
движенье,
а в глазах, голубых и счастливых, отражаются жизнь
и земля.

На бульваре Распай, как обычно, господин Доминик
у руля.
И в его ресторанчике тесном заправляют полдневные
тени,
петербургскую ветхой салфеткой прикрывая от пятен
колени,
розу красную в лацкан вонзая, скатерть белую с хрустом
стеля.

Этот полдень с отливом зеленым между нами по горстке
деля,
как стараются неутомимо Бог, Природа, Судьба,
Провиденье,
короли, спаниели, и розы, и питейные все заведенья,
Сколько прелести в этом законе! Но и грусти порой...
Voila!

Если есть еще позднее слово, пусть замолвят его
обо мне.
Я прошу не о вечном блаженстве — о минуте
возвышенной пробы,
где возможны, конечно, утраты и отчаянье даже,
но чтобы —
милосердие в каждом движенье и красавица
в каждом окне!

* * *

Ю. Давыдову

Нужны ли гусару сомненья,
их горький и въедливый дым,
когда он в доспехах с рожденья
и слава всегда перед ним?

И в самом начале сраженья,
и после, в пылу, и потом
нужны ли гусару сомненья
в содеянном, в этом и в том?

Покуда он легок, как птица,
пока он горяч и в седле,
врагу от него не укрыться:
нет места двоим на земле.

И что ему в это мгновенье,
когда позади — ничего,
потомков хула иль прощенье?
Они не застанут его.

Он только пришел из похода,
но долг призывает опять.
И это, наверно, природа,
которую нам не понять.

... Ну ладно. Враги перебиты,
а сам он дожил до седин
и, клетчатый пледом прикрытый,
рассеянно смотрит в камин.

Нужны ли гусару сомненья,
хотя бы в последние дни,
когда, огибая поленья,
в трубе исчезают они?

Полдень в деревне
(поэма)

Вл. Соколову

1

У дороги карета застыла.
Изогнулся у дверцы лакей.
За дорогой не то чтоб пустыня —
но пейзаж без домов и людей.
Знатный баловень сходит с подножки,
просто так, подышать тишиной.
Фрак малиновый, пряжки, застёжки
и платочек в руке кружевной.

2

У оврага кузнечик сгорает,
рифмы шепчет, амброзию пьёт
и худым локотком утирает
вдохновенья серебряный пот.
Перед ним — человечек во фраке
на природу глядит свысока
и журчанием влаги в овраге
снисходительно дышит пока.

Ах, кузнечик, безумный и сырый,
что ему твои рифмы и лиры,

строк твоих и напевов тщета?
Он иной, и иные кумиры
перед ним отворяют врата.
Он с природою слиться не хочет...
Но, назойлив и неутомим,
незнакомый ему молоточек
монотонно стрекочет пред ним.

3

Вдруг он вздрогнул. Надменные брови
вознеслись неизвестно с чего,
и гудение собственной крови
докатилось до слуха его.

Показалось смешным всё, что было,
еле видимым сквозь деревья.
Отголоски житейского пира
в этот мир пробивались едва.
Что-то к горлу его подступило:
то ли слезы, а то ли слова...

Скинул фрак. Закатал рукава...
На платке оборвал кружева...

То ли клятвы, а то ли признанья
завучали в его голове...

4

И шагнул он, срывая дыханье,
спотыкаясь о струны в траве,
закружился, цветы приминяя,
пятерней шевелюру трепля,

рифмы пробуя, лиру ломая
и за ближнего небо моля.
Он не то чтобы к славе стремился —
просто жил, искушая судьбу..
И серебряный пот заструился
по его невеликому лбу.
Ручка белая к небу воздета.
В глазках карих — ни зла, ни обид...

5

Заждалась у дороги карета,
и лакей на припекке храпит.

Дорожная песня

Еще он не сшит, твой наряд подвенечный,
и хор в нашу честь не споет...
А время торопит — возница беспечный, —
и просятся кони в полет.

Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга,
не смолк бубенец под дугой...
Две вечных подруги — любовь и разлука —
не ходят одна без другой.

Мы сами раскрыли ворота, мы сами
счастливую тройку впрягли,
и вот уже что-то сияет пред нами,
но что-то погасло вдали.

Святая наука — расслышать друг друга
сквозь ветер, на все времена...
Две страницы вечных — любовь и разлука —
поделятся с нами сполна.

Чем дольше живем мы, тем годы короче,
тем слаще друзей голоса.
Ах, только б не смолк под дугой колокольчик,
глаза бы глядели в глаза.

То берег – то море, то солнце – то выюга,
то ангелы – то воронье...

Две вечных дороги – любовь и разлука –
проходят сквозь сердце мое.

Лунин в Забайкалье

Н. Эйдельману

Мелькнуло короткое лето.
Увяла забвенья трава.
Какая-то женщина где-то
на вас потеряла права.

О вы, неудачник опасный,
скажите: зачем-почему
сменили халат свой атласный
на вечную эту тюрьму?

Ступайте на волю скорее,
велите возок заложить...
Чем медленней мы — тем старее.
Пора бы собой дорожить.

Отвага нас детская мучит,
в кирпич кулачками стучит.
Дерзаниям штык не научит,
с любовью замок разлучит.

Неужто что было, то было?
И гвардия вас позабыла,
и даже не снитесь вы ей...

А чем же вы это опасны?
Наверное, тем, что прекрасны,
и тем, что, наверно, пристрастны
в любви к отчизне своей.

Настольные лампы

Арсению Тарковскому

Обожаю настольные лампы,
угловатые, прошлых времен.
Как они свои круглые лапы
умещают средь книг и тетрадей,
под ажурную сенью знамен,
возвышаясь не почестей ради,
как гусары на райском параде
от рождения до похорон!

Обожаю на них абажуры,
кружевные, неярких тонов,
нестареющие их фигуры
и немного надменные позы.
И путем, что, как видно, не нов,
ухожу от сегодняшней прозы,
и уже настоящие слезы
проливать по героям готов

Укрощает настольные лампы
лишь всесильного утра река.
Исчезает, как лиры и латы,
вдохновенье полночной отваги.
Лишь вздымают крутые бока
аккуратные груды бумаги,
по которым знакомые знаки
равнодушно выводит рука.

Свет, растекшийся под абажуром,
вновь рождает надежду и раж,
как приветствие сумеркам хмурым,
как подобье внезапной улыбки...
Потому что чего не отдашь
за полуночный замысел зыбкий,
за отчаяние, и ошибки,
и победы — всего лишь мираж?

* * *

Живые, вставай-подымайся,
будь счастлив, кто снова живой,
на первый-второй рассчитайся,
ряды поредевшие сдвой.

Чисты ваши тонкие руки,
ясна ваших глаз синева,
цена за минувшие муки
ничтожна, как дым и трава.

Чем дальше от юности дерзкой,
тем ближе мы к черной земле,
и памятка бури вселенской
лежит, как печать, на челе.

И всё неподатливей струны,
и с каждой минутой трудней
увидеть в усмешке фортуны
улыбку надежды своей.

* * *

Глас трубы над городами,
под который, так слабы,
и бежали мы рядами,
и лежали как снопы.

Сочетанье разных кнопок,
клавиш, клапанов, красот;
даже взрыв, как белый хлопок,
безопасным предстает.

Сочетанье ноты краткой
с нотой долгою одной —
вот и всё, и с вечной сладкой
жизнью кончено земной.

Что же делать с той трубою,
говорящей не за страх
с нами, как с самой собою,
в доверительных тонах?

С позолоченной под колос,
с подрумяненной под медь?..
Той трубы счастливый голос
всех зовет на жизнь и смерть.

И не первый, не последний,
а спешу за ней, как в бой,
я — пятидесятилетний,
искушенный и слепой.

Как с ней быть? Куда укрыться,
чуя гибель впереди?..
Отвернуться?
Притвориться?
Или вырвать из груди?..

Примета

А. Жигулину

Если ворон в вышине,
дело, стало быть, к войне.

Чтобы не было войны,
надо ворона убить.
Чтобы ворона убить,
надо ружья зарядить.

А как станем заряжать,
всем захочется стрелять.
Ну, а как стрельба пойдет,
пуля дырочку найдет.

Ей не жалко никого,
ей попасть бы хоть в кого,
хоть в чужого, хоть в свово...
Во, и боле ничего.

Во, и боле ничего.
Во, и боле никого.
Кроме ворона того:
стрельнуть некому в него.

* * *

Поздравьте меня, дорогая: я рад, что остался в живых, стора в преддверии рая среди маршалов и рядовых, когда они шумной толпою, в сиянии огненных стрел, влекли и меня за собою... Я счастлив, что там не сгорел.

Из хроник, прочитанных мною, в которых — судьба
и душа,

где теплится пламя былое условно, почти не дыша,
являются мне не впервые, как будто из чаши густой,
то флаги любви роковые, то знаки надежды пустой,

то пепел, то кровь, а то слезы — житейская наша река.

Лишь редкие красные розы ее украшают слегка.

И так эта реченька катит, и так не устала катить,
что слез никаких и не хватит, чтоб горечь утрат
оплатить.

Судьба ли меня защитила, собою укрыв от огня!

Какая-то тайная сила всю жизнь охраняла меня.

И так всё сошлось, дорогая: наверно, я т а м не сгорел,
чтоб выкрикнуть з д е с ь, догорая, про то, что
другой не успел.

* * *

Всё глуше музыка души,
всё звонче музыка атаки.
Но ты об этом не спеши:
не обмануться бы во мраке,
что звонче музыка атаки,
что глуше музыка души.

Чем громче музыка атак,
тем слаще мед огней домашних.
И это было только так
в моих скитаниях вчерашних:
тем слаще мед огней домашних,
чем громче музыка атак.

Из глубины ушедших лет
еще вернее, чем когда-то, —
чем звонче музыка побед,
тем горше каждая утрата,
еще вернее, чем когда-то,
из глубины ушедших лет.

И это всё у нас в крови,
хоть этому не обучали:
чем выше музыка любви,

тем громче музыка печали,
чем громче музыка печали,
тем чище музыка любви.

* * *

Под Мамонтовкой жгут костры
бродяги иль студенты...
Ах, годы детства так пестры,
как кадры киноленты!

Еще не найдена стезя
меж адом и меж раем,
и все пока в живых друзья,
и мы в войну играем.

Еще придет пора разлук
и жажда побороться.
Еще всё выпадет из рук —
лишь мелочь подберется.

Но это всё потом, потом,
когда-нибудь, быть может.
И нету сведений о том,
что Время нам предложит.

Еще придет тот главный час
с двенадцатым ударом,
когда добром помянут нас
и проклянут задаром.

Еще повеет главный час
разлукой ледяною,
когда останутся у нас
лишь крылья за спиною.

* * *

Как наш двор ни обижали — он в классической поре.
С ним теперь уже не справиться, хоть он и безоружен,
Там Володя во дворе,
его струны в серебре,
его пальцы золотые, голос его нужен.

Как с гитарой ни боролись — распался струнный звон.
Как вино стихов ни портили — всё крепче становилось.
Кто сначала вышел вон,
кто потом украл вагон —
всё теперь перемешалось, всё объединилось.

Может, кто и нынче снова хрипоте его не рад,
может, кто намеревается подлить в стихи еля...
Ведь и песни не горят,
они в воздухе парят,
чем им делают большее — тем они сильнее.

Что ж печалиться напрасно: нынче слезы лей — не лей,
но запомним хорошенечко и повод, и причину...
Ведь мы воспели королей
от Таганки до Филей,
пусть они теперь поэту воздают по чину.

Мой почтальон

Всяк почтальон в этом мире, что общеизвестно,
корреспонденцию носит и в двери стучит.
Мой почтальон из другого какого-то теста:
писем ко мне не приносит, а только молчит.

Топчется в темной прихожей в молчании строгом,
круг оттоптал на пороге у самых дверей.
Радостный день и объятия там, за порогом,
горестный мрак и утрата в пещере моей.

Мой почтальон презирает меня и боится,
жаждет скорей от меня отбойриться, плут.
Там, за порогом, мелькают счастливые лица,
там ни о чем не жалеют и писем не ждут.

Вот наконец, изгибаясь и кланяясь что ли,
будто спасаясь, спешит по обратной тропе.
Как он вздыхает легко, оказавшись на воле,
как ни о чем не жалеет, теряясь в толпе.

* * *

Соединение сердец —
старинное приспособление:
вот-вот уж, кажется, конец —
ан снова, смотришь, потепление.
Вот-вот уж, кажется, пора
разрыв почти увековечен...
Но то, что кажется с утра,
преображается под вечер.

Соединение сердец —
старинное приспособление...
Но если впрямь настал конец,
какое, к черту, потепление?
И если впрямь пришла пора,
все рассуждения напрасны:
что было — сплыло со двора,
а мы хоть врозь, но мы — прекрасны.

И в скорбный миг, печальный миг
теряют всякое значение
все изречения мудрых книг
и умников нравоученья.
Понятны только нам двоим
истоки радости и муки...
И тем живем. На том стоим
и утешаемся в разлуке.

* * *

Почему мы исчезаем,
превращаясь в дым и пепел,
в глинозем, в солончаки,
в дух, что так неосязаем,
в прах, что выглядит нелепым, —
нытики и остряки?

Почему мы исчезаем
так внезапно, так жестоко,
даже слишком, может быть?
Потому что притязаем,
докопавшись до истока,
миру истину открыть.

Вот она в руках как будто,
можно, кажется, потрогать,
свет ее слепит глаза...
В ту же самую минуту
Некто нас берет под локоть
и уводит в небеса.

Это так несправедливо,
горько и невероятно —

невозможно осознать:
был счастливым, жил красиво,
но уже нельзя обратно,
чтоб по-умному начать.

Может быть, идущий следом,
зная обо всем об этом,
изберет надежный путь?
Может, новая когорта
из людей иного сорта
изловчится как-нибудь?

Всё чревато повтореньем.
Он, объятый вдохновеньем,
зорко с облака следит.
И грядущим поколениям,
обоженным нетерпеньем,
тоже э т о предстоит.

* * *

Собрался к маме — умерла,
к отцу хотел — а он расстрелян,
и тенью черного орла
горийского весь мир застелен.

И, измаравшись в той тени,
нажравшись выкриков победных,
вот что хочу спросить у бедных,
пока еще бедны они:

собрался к маме — умерла,
к отцу подался — застрелили...
Так что ж спросить-то позабыли,
верша великие дела:
отец и мать нужны мне были?
... В чем философия была?

* * *

В день рождения подарок преподнес я сам себе.
Сын потом возьмет, озвучит и сыграет на трубе.
Сочинилось как-то так, само собою
что-то среднее меж песней и судьбою.

Я сижу перед камином, нарисованным в углу,
старый пудель растянулся под ногами на полу.
Пусть труба, сынок, мелодию сыграет...
Что из сердца вышло — быстро не сгорает.

Мы плывем ночной Москвою между небом и землей.
Кто-то балуется рядом черным пеплом и золой.
Лишь бы только в суете не заигрался...
Или зря нам этот век, сынок, достался?

Что ж, играй, мой сын кудрявый, ту мелодию в ночи,
пусть ее подхватят следом и другие трубачи.
Нам не стоит этой темени бояться,
но счастливыми не будем притворяться.

* * *

Оле

Надежды крашенная дверь.
Фортуны мягкая походка.
Усталый путник, средь потерь
всегда припрятана находка.
И хоть видна она нечетко,
но ждет тебя она, поверь.

Улыбка женщины одной,
единственной, неповторимой,
соединенною с тобой
суровой ниткою незримой,
от обольщения хранимой
своей загадочной судьбой.

Придут иные времена
и выдумки иного рода,
но будет прежнею она
как май, надежда и природа,
как жизнь, и смерть, и запах меда...
И чашу не испить до дна.

* * *

Вот музыка та, под которую
мне хочется плакать и петь.
Возьмите себе оратории,
и дробь барабанов, и медь.

Возьмите себе их в союзники
легко, до скончания дней...
Меня же оставьте с той музыкой:
мы будем беседовать с ней.

* * *

В нашей жизни, прекрасной, и странной,
и короткой, как росчерк пера,
над дымящейся свежее раной
призадуматься, право, пора.

Призадуматься и присмотреться,
поразмыслить, покуда живой,
что там кроется в сумерках сердца,
в самой черной его кладовой.

Пусть твердят, что дела твои плохи,
но пора научиться, пора
не вымаливать жалкие крохи
милосердия, правды, добра.

Но пред ликом суровой эпохи,
что по-своему тоже права,
не выжувать жалкие крохи,
а творить, засучив рукава.



По Грузинскому валу воинственно ставя носок,
ты как будто в полете, и твой золотой голосок
в простодушные уши продрогших прохожих струится.
Но хотя он возвышен, и ярок, и чист, и высок,
не успеешь моргнуть — а уже просочился в песок,
и другими уже голосами гордится столица.

Как чиновна она, неприступна она, брат, с крыльца,
и не сходит уже позолота с ее, брат, лица,
так что в тесном квадрате двора поспевай, брат,
вертеться.

Где уж годы беречь, если сыплются дождичком дни,
и тяжки и горьки, как свинцовые пульки они,
и ложатся один за другим возле самого сердца.

И фортуна твоя, подбоченясь, глядит из окна,
ослепленная мыслью, что ей перспектива видна
меж домов и дворов... Будто это и есть перспектива.
И дорога твоя от рожденья — то мир, то война,
и привычные с детства горят вдоль нее письма:
то „Вернись!”, то „Ступай!”, то „Прости!”, то „Прощай!”,
то „Счастливо!”.

По Грузинскому валу к финалу рабочего дня,
заломив козырек, ошалев от обид и вранья,
независимый облик храня, прогуляться неплохо...
Навостриться бы мне разводить своих братьев плечом,
научиться бы мне, чтобы так не жалеть ни о чем,
да, как видно, уже не успеть до последнего вдоха.

* * *

**Пока от вранья не отвыкнем
традиции древней назло,
покуда не всхлипнем, не вскрикнем:
куда это нас занесло?! —**

**пока покаянного слова
не выдохнет впалая грудь,
придется нам снова и снова
холопскую лямку тянуть.**

* * *

Лену Карпинскому

Шестидесятники развенчивать усатого должны,
и им для этого особые приказы не нужны:
они и сами, словно кони боевые,
и бьют копытами, пока еще живые.

Ну а кому еще рассчитывать в той драке на успех?
Не зря кровавые отметины видны на них на всех.
Они хлебнули этих бед не понаслышке.
Им всё маячило — от высылки до вышки.

Судьба велит шестидесятникам исполнить этот долг,
и в этом их предназначение, особый смысл и толк.
Ну а приказчики, влюбленные в деспота,
пусть огрызаются — такая их работа.

Шестидесятникам не кажется, что жизнь
сгорела зря:
они поставили на родину, короче говоря.
Она, конечно, в суете о них забудет,
но ведь одна она. Другой уже не будет.

* * *

Славная компания... Что же мне решить?
Сам я непьющий, — друзья подливают.
Умирать не страшно — страшно не жить.
Вот какие мысли меня одолевают.

Впрочем, эти мысли высказал Вольтер.
Надо иногда почитать Вольтера.
Запад, конечно, для нас не пример.
Впрочем, я не вижу лучшего примера.

Памяти брата моего Гиви

На откосе, на обрыве
нашей жизни удалой
ты не удержался, Гиви,
стройный, добрый, молодой.

Кто столкнул тебя с откоса,
не сказав тебе „прощай”,
будто рюмочку – с подноса,
будто вправду невзначай?

Мы давно отвоевали.
Кто же справился с тобой?
Рок ли, время ли, молва ли,
вождь ли, мертвый и рябой?

Он и нынче, как ни странно –
похоронен и отпет, –
усмехается с экрана,
а тебя в помине нет.

Стих на сопках Магадана
лай сторожевых собак,
но твоя большая рана
не рубцуется никак.

И кого теперь с откоса
по ранжиру за тобой?..
Спи, мой брат беловолосый,
стройный, добрый, молодой.

Гимн уюту

А. Пугачевой

Слава и честь самовару —
первенцу наших утех!
Но помяну и гитару —
главную даму из всех.

Вот он — хозяин уюта,
золотом светится медь.
Рядом — хозяйка, как будто
впрямь собирается спеть.

Он запыхтит, затрясется,
выбросит пар к потолку —
тотчас она отзовется
где-нибудь здесь, в уголку.

Он не жалеет водицы
в синие чашки с каймой, —
значит, пора насладиться
пеньем хозяйки самой.

Бог не обидел талантом,
да и хозяин как бог,
вторит хозяйке дискантом,
сам же глядит за порог:

там, за порогом, такое
что не опишешь всего...
Царствуй, хозяин покоя:
праведней нет ничего.

Слава и честь самовару!
Но не забудем, о нет,
той, что дана ему в пару,
талию и силуэт.

Врут, что она увядает.
Время ее не берет.
Плачет она и сгорает,
снова из пепла встает.

Пой же, и всё тебе будет:
сахар, объяття и суд,
и проклянут тебя люди,
и до небес вознесут.

Пойте же, будет по чести
воздано вам за уют...
Вот и поют они вместе,
плачут и снова поют.

* * *

Не сольются никогда зимы долгие и лета:
у них разные привычки и совсем несхожий вид:
Не случайны на земле две дороги — та и эта,
та натруживает ноги, эта душу бередит.

Эта женщина в окне в платье розового цвета
утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез,
потому что перед ней две дороги — та и эта,
та прекрасна, но напрасна, эта, видимо, всерьез.

Хоть разбейся, хоть умри — не найти верней ответа,
и, куда бы наши страсти нас с тобой ни завели,
неизменно впереди две дороги — та и эта,
без которых невозможно, как без неба и земли.

* * *

Ю. Киму

Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик?
Едва твой гимн пространства огласит,
прислушаться — он от скорбей излечит,
а вслушаться — из мертвых воскресит.

Какой струны касаешься прекрасной,
что тотчас за тобой вступает хор
таинственный, возвышенный и страстный
твоих зеленых братьев и сестер?

Какое чудо обещает скоро
слететь на нашу землю с высоты,
что так легко, в сопровожденье хора,
так звонко исповедуешься ты?

Ты тоже из когорты стихотворной,
из нашего бессмертного полка.
Кричи и плачь. Авось твой труд упорный
потомки не оценят свысока.

Поэту настоящему спасибо,
руке его, безумию его
и голосу, когда, взлетев до хрипа,
он неба достигает своего.

Письмо к маме

Ты сидишь на нарах посреди Москвы.
Голова кружится от слепой тоски.
На окне — намордник,
воля — за стеной,
ниточка порвалась меж тобой и мной.
За железной дверью топчется солдат...
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь — он за весь народ.

Следователь юный машет кулаком.
Ему так привычно звать тебя врагом.
За свою работу рад он попотеть...
Или ему тоже в камере сидеть?
В голове убогой — трехэтажный мат...
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь — он за весь народ.

Чуть за Красноярском — твой лесоповал.
Конвоир на фронте сроду не бывал.
Он тебя прикладом, он тебя пинком,
чтоб тебе не думать больше ни о ком.

Тулуп на нем жарок, да холоден взгляд...
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь — он за весь народ.

Вождь укрылся в башне у Москвы-реки.
У него от страха паралич руки.
Он не доверяет больше никому,
словно сам построил для себя тюрьму.
Всё ему подвластно, да опять не рад...
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь — он за весь народ.

* * *

После дождичка небеса просторны,
голубей вода, зеленее медь.
В городском саду – флейты да валторны.
Капельмейстеру хочется взлететь.

Ах как помнятся прежние оркестры,
не военные, а из мирных лет!
Расплескалася в улочках окрестных
та мелодия... А поющих нет.

С нами женщины. Все они красивы.
И черемуха – вся она в цвету.
Может, жребий нам выпадет счастливый:
снова встретимся в городском саду.

Но из прошлого, из былой печали,
как ни сетую, как там ни молю,
проливается черными ручьями
эта музыка прямо в кровь мою.

Памяти Обуховой

Е. Камбуровой

Когда б вы не спели тот старый романс,
я верил бы, что проживу и без вас,
и вы бы по мне не печалились и не страдали.
Когда б вы не спели тот старый романс,
откуда нам знать, кто счастливей из нас?
И наша фортуна завиднее стала б едва ли.

И вот вы запели тот старый романс,
и пламень тревоги, как свечка, угас.
А надо ли было, чтоб сник этот пламень тревоги?
И вот вы запели тот старый романс,
но пламень тревоги, который угас,
опять разгорелся, как поздний костер у дороги.

Зачем же вы пели тот старый романс?
Неужто всего лишь, чтоб боль улеглась?
Чтоб боль улеглась, а потом чтобы вспыхнула снова?
Зачем же вы пели тот старый романс?
Он словно судьба расплескался меж нас,
всё, капля по капле, и так до последнего слова.

Когда б вы не спели тот старый романс,
о чем бы я вспомнил в последний свой час,
ни сердца, ни голоса вашего не представляя?

Когда б вы не спели тот старый романс,
я умер бы, так и не зная о вас,
лишь черные даты в тетради души проставляя.

* * *

Мне не в радость этот номер,
телевизор и уют.
Видно, надо, чтоб я помер —
все проблемы отпадут.

Ведь они мои, и только.
Что до них еще кому?
Для чего мне эта койка —
на прощание пойму.

Но когда за грань покоя
преступлю я налегке,
крикни что-нибудь такое
на грузинском языке.

Крикни громче, сделай милость,
чтоб на миг поверил я,
будто это лишь приснилось:
смерть моя и жизнь моя.

* * *

Отчего ты печален, художник —
живописец, поэт, музыкант?
На какую из бурь невозможных
ты растратил свой гордый талант?

На каком из отрезков дороги
растерял ты свои медяки?
Всё надеялся выйти в пророки,
а тебя занесло в должники.

Словно эхо поры той прекрасной,
словно память надежды былой —
то на Сретенке профиль твой ясный,
то по Пятницкой шаг удалой.

Так плати из покуда звенящих,
пот и слезы стирая со щек,
за истертые в пальцах дрожащих
холст и краски, перо и смычок.

Дунайская фантазия

Оле

Как бы мне сейчас хотелось в Вилкове вдруг очутиться!
Там – каналы, там – гондолы, гондольеры.
Очутиться, позабыться, от печалей отшутиться:
ими жизнь моя отравлена без меры.

Там побеленные стены и фундаменты цветные,
а по стенам плющ клубится для оправы.
И лежат на солнцепеке безопасные, цепные,
показные, пожилые волкодавы.

Там у пристани танцуют жок, а может быть, сиртаки:
сыновей своих в солдаты провожают.
Всё надеются: сгодятся для победы, для атаки,
а не хватит – сколько надо, нарожают.

Там опять для нас с тобою дебаркадер домом служит.
Мы гуляем вдоль Дуная, рыбу удим.
И объятя наши жарки, и над нами ангел кружит
и клянется нам, что счастливы мы будем.

Как бы мне сейчас хотелось очутиться в том, вчерашнем,
быть влюбленным и не думать о спасенье,
пить вино из черных кружек, хлебом заедать домашним,
чтоб смеялась ты и плакала со всеми.

Как бы мне сейчас хотелось ускользнуть туда, в начало,
к тем ребятам уходящим приобщиться.
И с тобою так расстаться у дунайского причала,
чтоб была еще надежда воротиться.

То есть вы, мол, маршируйте по степи по полуденной,
ну а мы, мол, ваши слуги, — значит, с нас и спросу нет.

Кстати, конюх тоже видит сон, что он на мавзолее,
что стоит, не удивляется величию своему,
что инструктор городского комитета, не жалея
ни спины и ни усердья, поклоняется ему.

Эта яркая картина неспроста его коснулась:
он стоял на мавзолее, широко разинув рот!..
... Кони все на дне лежали, но душа его проснулась,
и мелькал перед глазами славных лет круговорот.

Прощальная песенка волковских актеров

Прощай, прощай, прощай, прощай, ярославская погода,
стены белые, нарисованные на синих небесах.
Тянет душу, сердце рвет, заманивает природа,
слезы чистые, прозрачные не высыхают на глазах.

Прощай, прощай, прощай, прощай, лесов могучих
позолота!

Колесница неукротимая за облаком гремит.
Ожидают нас, зажмурившись, оловянные болота,
петербургский неразговорчивый таинственный гранит.

Прощай, прощай, прощай, прощай, деревянного сарая
пыль подмостков, дух рогожи! Настало времечко гореть.
Видать, времечко настало, настало времечко, сгорая,
настало времечко, сгорая, ни о чем не сожалеть...

* * *

*Александрю Галичу,
Владимиру Высоцкому,
Юлию Киму*

Вечера французской песни
нынче в моде и в цене.
А своих-то нет, хоть тресни...
Где же наши шансонье?

Пой, француз, тебе и карты,
ты — француз, ты вдалеке.
Дело в том, что наши барды
проживают в бардаке —

в том, в котором нет пророка,
чуть явись — затопчут след.
Пой, француз, ведь ты далеко,
и к тебе претензий нет.

Чем начальству ты приятен?
Тем, что текст твой непонятен.
Если ж нужен перевод,
переводчик — наш молодчик —
как прикажут — переврет.

Ты поёшь и ты танцуешь,
ты смакуешь каждый стих,

если ж даже критикуешь —
ведь не наших, а своих.

Пой, француз, с тебя нет спроса,
ты ведь гость, чего грешить...
Остальное — наша проза,
не тебе ее решить.

* * *

От нервов ли, от напряженья,
от жизни, что вся наугад,
мне слышится крови движенье,
как будто далекий набат.

Мне слышится пламени рокот.
Пожар полыхает земной.
И тут ни багры не помогут,
ни струи воды ледяной.

Сокрытый от праведных взоров,
разлит, словно море, в душе,
и бравая брань брендмайоров,
увы, бесполезна уже.

Он с каждой минутой всё пуще,
всё явственней он и слышней
над лесом, над лугом, над пущей,
над улицей жизни моей.

* * *

Всё забуду про тревогу,
про пожары и про лед.
Всё припомню понемногу,
когда времечко придет.

Всё оставлю за порогом,
чтоб резвиться без хлопот.
Всё сойдется в доме строгом,
когда времечко придет.

Всё, что, кажется, бесплодно
разбазариваем мы,
когда времени угодно,
вдруг появится из тьмы.

Никому уже не вычесть
из реестра своего
пусть ничтожных тех количеств,
что пришлись на одного.

Пусть, хоть много или мало,
составляющих судьбу,
без которых не пристало
место занимать в гробу.

* * *

На полянке разминаются оркестры духовые
и играют марш известный неизвестно для чего.
Мы пока еще все целы, мы покуда все живые,
а когда нагрянет утро — там посмотрим, кто кого.

И ефрейтор одинокий шаг высокий отбивает,
у него глаза большие, у него победный вид...
Но глубоко, так глубоко, просто глубже не бывает,
он за пазухою письма треугольные хранит.

Лейтенантик моложавый (он назначен к нам комбатом)
смотрит карту полевою, верит в чудо и в успех.
А солдат со мною рядом называет меня братом:
кровь, кипящая по жилам, нынче общая на всех.

Смолкли гордые оркестры — это главная примета.
Наготове все запасы: крови, брани и свинца...
Сколько там минут осталось... три-четыре до рассвета,
три-четыре до победы... три-четыре до конца.

***Арбатское вдохновение,
или Воспоминания о детстве***

Посвящаю Антону

Упрямо я твержу с давнишних пор:
меня воспитывал арбатский двор,
всё в нем, от подлого до золотого.
А если иногда я кружева
накручиваю на свои слова,
так это от любви. Что в том дурного?

На фоне непросохшего белья
руины человеческого жилья,
крутые плечи дворника Алима...
В Дорогомилово из тьмы Кремля,
усы прокуренные шевеля,
мой соплеменник пролетает мимо.

Он маленький, немый и рябой
и выглядит растерянным и пьющим,
но суть его — пространство и разбой
в кровавой драке прошлого с грядущим.
Его клеветы топчутся в крови...
Так где же почва для твоей любви? —
вы спросите с сомнением, вам присущим.

Что мне сказать? Я только лишь пророс.
Еще далече до военных гроз.

Еще загадкой манит подворотня.
Еще я жизнь сверяю по двору
и не подозреваю, что умру,
как в том не сомневаюсь я сегодня.

Что мне сказать? Еще люблю свой двор,
его убогость и его простор,
и аромат грошового обеда.
И льну душой к заветному Кремлю,
и усача кремлевского люблю,
и самого себя люблю за это.

Он там сидит, изогнутый в дугу,
и глину разминает на кругу,
и проволочку тянет для основы.
Он лепит, обстоятелен и тих,
меня, надежды, сверстников моих,
отечество... И мы на всё готовы.

Что мне сказать? На всё готов я был.
Мой страшный век меня почти добил,
но речь не обо мне — она о сыне.
И этот век не менее жесток,
а между тем насмешлив мой сынок:
его не облапошить на мякине.

Еще он, правда, тоже хил и слаб,
но он страдалец, а не гордый раб,
небезопасен и небезоружен...
А глина ведь не вечный матерьял,
и то, что я когда-то потерял,
он в воздухе арбатском обнаружил.

* * *

На полотне у Аллы Беляковой,
где темный сад немного бестолковый,
где из окна, дразня и завораживая,
выплескивается пятно оранжевое,
где всё имеет первозданный вид
и ветви как зеленая оправа,
где кто-то бодрствует, а кто-то спит
в том домике, изображенном справа, —
там я бываю запросто в гостях,
и надобности нет о новостях
выспрашивать дотошно и лукаво.

По лесенке скрипучей в сад схожу
и выгляжу, быть может, даже хмурим;
потом сажусь и за столом сижу
под лампою с зеленым абажуром.
Я на виду, я чем-то удручен,
а может, восхищен, но тем не мене
никто, никто не ведает, о чем
я размышляю в данное мгновенье,
совсем один в той странной тишине,
которою вселенная объята...
И что-то есть, наверное, во мне
от старого глехо* и от Сократа.

*Крестьянин (груз.).

Дерзость, или Разговор перед боем

- Господин лейтенант, что это вы хмуры?
Аль не по сердцу вам наше ремесло?
- Господин генерал, вспомнились амуры –
не скажу, чтобы мне с ними не везло.
- Господин лейтенант, нынче не до шашней:
скоро бой предстоит, а вы всё про баб!
- Господин генерал, перед рукопашной
золотые деньки вспомянуть хотя б.
- Господин лейтенант, не к добру всё это!
Мы ведь здесь для того, чтобы побеждать...
- Господин генерал, будет вам победа,
да придется ли мне с вами пировать?
- На полях, лейтенант, кровию политых,
расцветет, лейтенант, славы торжество...
- Господин генерал, слава для убитых,
а живому нужней женщина его.
- Черт возьми, лейтенант, да что это с вами!
Где же воинский долг, ненависть к врагу?!
- Господин генерал, посудите сами:
я и рад бы приврать, да вот не могу...
- Ну гляди, лейтенант, каяться придется!
Пускай счеты с тобой трибунал сведет...
- Видно так, генерал: чужой промахнется,
а уж свой в своего всегда попадет.

Мое поколение

Всего на одно лишь мгновенье
раскрылись две створки ворот,
и вышло мое поколение
в свой самый последний поход.

Да, вышло мое поколение,
усталые сдвоив ряды.
Непросто, наверно, движенье
в преддверии новой беды.

Да, это мое поколение,
и знамени скромн наряд,
но риск, и любовь, и терпенье
на наших погонах горят.

Гудят небеса грозовые,
сливаются слезы и смех.
Все — маршалы, все — рядовые,
и общая участь на всех.

* * *

В больничное гляну окно, а там, за окном —
Пироговка,
и жизнь, и судьба, и надежда, и горечь, и слава, и дым.
Мне старость уже не страшна, но всё-таки как-то
неловко
мешать вашей рыси отменной ничтожным галопом
своим.

А там, за широким окном, за хрупким, прозрачным,
больничным,
вершится житейский порядок, единый во все времена:
то утро с кефиром ночным, то вечер с вареньем
клубничным,
и всё это с плачем, и смехом, и с пеной, взлетевшей
со дна.

В больничное гляну окно, а там, за окошком, — аллея,
клубится февральское утро, и санный рождается путь.
С собой ничего не возьмешь, лишь выронить можно,
жаляя,
но есть кого вспомнить с проклятьем, кого и добром
помянуть.

В больничное гляну окно — узнаю, что может начаться,
и чем, наконец, завершится по этому свету ходьба,
что завтра случится, пойму. И в сердце мое постучатся
надежда, любовь, и терпенье, и слава, и дым, и судьба.

* * *

А. Володину

Что-то знает Шура Лифшиц:
понапрасну слез не льет.
В петербургский смог зарывшись,
зерна истины клюет.

Так устроившись удобно
среди каменных громад,
впитывает он подробно
этих зерен аромат.

Он вонзает ноги прочно
в почвы лета и зимы,
потому что знает точно
то, о чем тоскуем мы.

Жар души не иссякает.
Расслабляться не пора...
Слышно: времечко стекает
с кончика его пера.

* * *

Антону

Что-то сыночек мой уединением стал тяготиться.
Разве прекрасное в шумной компании может родиться?
Там и мыслишки, внезапно явившейся, не уберечь:
в уши разверстые только напрасная просится речь.

Папочка твой не случайно сработал надежный свой кокон.
Он состоит из дубовых дверей и зашторенных окон.
Он состоит из надменных замков и щеколд золотых...
Лица незваные с благоговением смотрят на них.

Чем же твой папочка в коконе этом прокуренном занят?
Верит ли в то, что перо не продаст, что строка
не обманет?
Верит ли вновь, как всю жизнь, в обольщения вечных
химер:
в гибель зловещего Зла и в победу Добра, например?

Шумные гости, не то чтобы циники — дети стихии,
ищут себе вдохновенья и радостей в годы лихие,
не замечая, как вновь во все стороны щепки летят,
черного Зла не боятся, да вот и Добра не хотят.

Всё справедливо. Там новые звуки рождаются глухо.
Это мелодия. К ней и повернуто папочки ухо.

Но неуверенно как-то склоняется вниз голова:
музыка нравится, но непонятные льются слова.

Папочка делает вид, что и нынче он истиной правит.
То ли и впрямь не устал обольщаться, а то ли лукавит,
что, мол, гармония с верою будут в одно сведены...
Только никто не дает за нее даже малой цены.

Всё справедливо. И пусть он лелеет и холит свой кокон.
Вы же ликуйте и иронизируйте шумно и скопом,
но погрузите хотя бы, увидев, как сходит на нет
серый, чужой, старомодный, сутулый его силуэт.

Мой отец

Он был худощав и насвистывал старый, давно
позабытый мотив,
и к жесткому чубчику ежеминутно его пятерня
прикасалась.

Он так и запомнился мне на прощанье, к порогу лицо
обратив,
а жизнь быстротечна, да вот бесконечной ему почему-то
казалась.

Его расстреляли на майском рассвете, и вот он уже далеко.
Всё те же леса, водопады, дороги и запах акации острый.
А кто-то ж кричал: „Не убий!“ — одинокий... И в это
поверить легко,
но бредили кровью и мезтью святою все прочие братья
и сестры.

И время отца моего молодого печальный развеяло прах,
и нету надгробья, и памяти негде над прахом склониться,
рыдая.
А те, что виновны в убийстве, и сами давно уже все
в небесах.
И там, в вышине, их безвестная стая кружится, редая
и тая.

В учебниках школьных покуда безмолвны и пули и пламя,
и плеть,
но чье-то перо уже пишет и пишет о том, что пока
безымянно.
И нам остается, пока суд да дело, не грезить, а плакать
и петь.
И слезы мои солонны и горячи. И голос прекрасен...
Как странно!

* * *

В больнице медленно течет река часов,
сочится в форточки и ускользает в двери.
По колким волоскам моих седых усов
стекает, растворяясь в атмосфере.

Течет река. Над нею — вечный дым.
Чем исповедаюсь? Куда опять причалю?
Был молодым. Казался молодым.
О молодости думаю с печалью.

В больнице медленно течет поток времен,
так медленно, что мнится беспредельным.
Его волной доставленный урон
не выглядит ни скорбным, ни смертельным.

На новый лад судьбу не перешить.
Самодовольство — горькое блаженство.
Искусство всё простить и жажда жить —
недостижимое совершенство.

* * *

Вот комната эта — храни ее Бог! —
мой дом, мою крепость и волю.
Четыре стены, потолок и порог,
и тень моя с хлебом и солью.

И в комнате этой ночью порой
я к жизни иной прикасаюсь.
Но в комнате этой, отнюдь не герой,
я плачу, молюсь и спасаюсь.

В ней всё соразмерно желаньям моим —
то облик берлоги, то храма, —
в ней жизнь моя тает, густая, как дым,
короткая, как телеграмма.

Пока вы возносите небу хвалу,
пока укоряете время,
меня приглашает фортуна к столу
нести свое сладкое время.

Покуда по свету разносит молва,
что будто я зло низвергаю,
я просто слагаю слова и слова
и чувства свои излагаю.

Судьба и перо, по бумаге шурша,
стараются, лезут из кожи.
Растрачены силы, сгорает душа,
а там, за окошком, всё то же.

* * *

Пишу роман. Тетрадка в клеточку.
Пишу роман. Страницы рву.
Февраль к стеклу подставил веточку,
чтоб так я жил, пока живу.

Шуршат, шуршат листы тетрадные,
чисты, как аиста крыло,
а я ищу слова нескладные
о том, что было и прошло.

А вам как бы с полета птичьего
мерещится всегда одно —
лишь то, что было возвеличено,
лишь то, что в прах обращено.

Но вам сквозь ту бумагу белую
не разглядеть, что слезы лью,
что я люблю отчизну бедную,
как маму бедную мою.

* * *

Я выдумал музу Иронии
для этой суровой земли.
Я дал ей владенья огромные:
пари, усмехайся, шали.

Зевеса надменные дочери,
целя превосходство свое,
каких бы там умниц ни корчили —
не стоят гроша без нее.

* * *

Б. Ахмадулиной

Чувство собственного достоинства — вот загадочный
инструмент:
созидается он столетьями, а утрачивается в момент,
под бомбежку ли, под гармошку ли, под красивую ль
болтовню
иссушается, разрушается, сокрушается на корню.

Чувство собственного достоинства — вот таинственная
стезя,
на которой разбиться запросто, но с которой свернуть
нельзя,
потому что без промедления, вдохновенный, чистый,
живой,
растворится, в пыль превратится человеческий образ
твой.

Чувство собственного достоинства — это просто портрет
любви.
Я люблю вас, мои товарищи, — боль и нежность в моей
крови.
Что б там тьма и зло ни пророчили, кроме этого ничего
не придумало человечество для спасения своего.

* * *

А. Кушнеру

Хочу воскресить своих предков,
хоть что-нибудь в сердце сберечь.
Они словно птицы на ветках,
и мне непонятна их речь.

Живут в небесах мои бабки
и ангелов кормят с руки.
На райское пение падки,
на доброе слово легки.

Не слышно им плача и грома,
и это уже на века.
И нет у них отчего дома,
а только одни облака.

Они в кринолины одеты.
И льется божественный свет
от бабушки Елизаветы
к прабабушке Элисабет.

*** * ***

**Сколько сделано руками удивительных красот!
Но рукам пока далече до пронзительных высот,
до божественной, и вечной, и нетленной красоты,
что соблазном к нам стекает с недоступной высоты.**

* * *

Строка из старого стиха слывет ненастоящей:
она растрочена уже да и к мольбам глуха.
Мне строчка новая нужна какая-нибудь послаще,
чтоб начиналось из нее течение стиха.

Текут стихи на белый свет из тени кромешной,
из всяких горестных сует, из праздников души.
Не извратить бы вещей смысл иной строкой поспешной.
Всё остальное при тебе — мужайся и пиши.

Нисходит с неба благодать на кущи и на рощи,
струится дым из очага... И колея в снегу...
Мне строчка новая нужна какая-нибудь попроще,
а уж потом я сам ее украсу, как смогу.

Текут стихи на белый свет, и нету им замены,
и нет конца у той реки, пока есть белый свет.
Не о победе я молю: победы все надменны,
а об удаче я молю, с которой спроса нет.

Пугает тайною своей ночное бездорожье,
но избежать той черной мглы, наверно, не дано...
Мне строчка новая нужна какая-нибудь построже,
чтоб с ней предстать перед Тобой мне не было б грешно.

Текут стихи на белый свет рекою голубою
сквозь золотые берега в серебряную даль.
За каждый крик, за каждый вздох заплачено любовью —
ее всё меньше с каждым днем, и этого не жаль.

* * *

Старики умирать не боятся.
Им геройски погибнуть не труд.
Только нечего зря распалиться:
всё равно их на фронт не берут.

Умирают в боях молодые,
хоть не хочется им умирать, —
лишь надежды свои золотые
оставляют меж нами витать.

И бесшумная их эскадрилья
наводняет и полдень, и мрак...
Тени черные, белые крылья,
и от глаз не укрыться никак.

* * *

Над площадью базарною
вечерний дым разлит.
Мелодией азартною
весь город с толку сбит.

Еврей скрипит на скрипочке
о собственной судьбе,
а я тянусь на цыпочки
и плачу о себе.

Снует смычок по площади,
подкрадываясь к нам,
все музыканты прочие
укрылись по домам.

Все прочие мотивчики
не стоят ни гроша,
покуда здесь счастливики
толпятся чуть дыша.

Какое милосердие
являет каждый звук,
а каково усердие
лица, души и рук,

**как плавно, по-хорошему
из тьмы исходит свет,
да вот беда: от прошлого
никак спасенья нет.**

Краткая автобиография

Не укрыть, не утаить, а, напротив, пусть несмело, тайну сердца, тайну жизни вам доверить я хотел, откровенный свой рассказ прерывая то и дело, ночь пока не отгорела, дождь пока не отшумел.

Но за этот подвиг мой без притворства и коварства и за это вдохновенье без расчета и вранья слишком горькая на вкус, как напрасное лекарство, эта поздняя надежда отказалась от меня.

И осталось, как всегда, непрочитанное что-то в белой книге ожиданий, в черной книге праздных дел... Тонких листьев октября позолота. Жить охота, жизнь пока не облетела, свет пока не отгорел.

Песенка

Совесь, благородство и достоинство —
вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
за него не страшно и в огонь.

Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
но зато умрешь как человек.

* * *

Ах, что-то мне не верится, что я, брат, воевал.
А может, это школьник меня нарисовал:
я ручками размахиваю, я ножками сучу,
и уцелеть рассчитываю, и победить хочу.

Ах, что-то мне не верится, что я, брат, убивал.
А может, просто вечером в кино я побывал?
И не хватал оружия, чужую жизнь круша,
и руки мои чистые, и праведна душа.

Ах, что-то мне не верится, что я не пал в бою.
А может быть, подстреленный, давно живу в раю,
и кущи там, и рощи там, и кудри по плечам...
А эта жизнь прекрасная лишь снится по ночам.

* * *

Восемнадцатый век из античности
в назиданье нам, грешным, извлек
культ любви, обаяние личности,
наслаждения сладкий урок.

И различные высокопарности,
щегольства достославный парад...
Не ослабнуть бы от благодарности
перед ликом скуластых наяд.

Но куда-то лета эти минули,
как под жесткой ладонью раба:
невеселую карточку вынули
наше время и наша судьба.

И в лицо — что-то злобное, резкое,
как по мягкому горлу ребром,
проклиная, досадуя, брезгуя
тем, уже бесполезным добром.

Палаши, извлеченные наголо,
и без устали — свой своего...
А глаза милосердного ангела?..
А напрасные крики его?..

* * *

Из Вашингтона в назначенный срок
в определенном судьбой экипаже
я отправляюсь (храни меня Бог)
сквозь непонятные эти пейзажи.

Что моя жизнь? — эти краски в окне.
Сколько же в них вариантов возможных,
словно в стихах, пробужденных во мне,
и обольстительных, и безнадежных?

Что мое время? — вагон голубой,
красных холмов за окошком сплетенье.
Что мое бремя? — разлука с тобой
от отречения до обретенья.

В поисках рая глаза проглядел.
Где-то он всё в стороне остается.
Видно, прозрение — поздний удел:
не заработавшим не достается.

* * *

И. Бродскому

На странную музыку сумрак горазд,
как будто природа пристанище ищет:
то голое дерево голос подаст,
то почва вздохнет, а то ветер просвищит.

Всё злей эти звуки, чем ближе к зиме
и чем откровеннее горечь и полночь.
Там дальние кто-то страдают во тьме
за дверью глухой, призывая на помощь.

Там чьей-то слезой затуманенный взор,
которого ветви уже не упрячут...
И дверь распахну я и брошусь во двор:
а это в доме моем стонут и плачут.

* * *

Антону

Весь этот век, такой бесплодный —
есть дело наших горьких рук,
и только грамотою нотной
исправить можно сей недуг.

Когда народ от горя плачет,
тараща в ужасе зрочки,
хоть мало их — но много значат
простые нотные значки.

За мнимой этой простотою
под грифельком карандаша
с невыразимой остротою
вдруг раскрывается душа.

Да, да, средь тех крючков потешных
на тех линейках прописных
рождается из мук безбрежных
земное выраженье их.

Рождается как продолженье
мычання пересохшим ртом.
И всё — над бездною скольженье...
А музыка — она потом.

* * *

Не уезжай, жена моя, в леса
ни в лодке, ни в машине, ни в телеге.
Провидческие слышу голоса...
Еще нам предстоит разъезд навеки.

Его приход, увы, неумолим,
его шаги расчетливы и скоры.
Повременим, мой друг, повременим
седлать коней и заводить моторы.

Из бытия земного своего
в грядущие не верю обещастья —
ведь там уже не будет ничего:
ни боли, ни прощенья, ни прощанья.

И поражений горьких и побед
и жертвы и охотники мы сами...
Не уезжай, мой ангел: счастья нет,
тем более за дальними лесами.

* * *

Распахнуты дома. Безмолвны этажи.
Спокойным сном охвачены квартиры.
Но к зимней печке ухо приложи —
гудят за кладкою мортиры.

Гуляет тихий вечер по земле,
беспечный... Но в минуту роковую
толченый перец в склянке на столе
готов напомнить пыль пороховую.

Стоит июль во всей своей красе.
За поворотом женщина смеется,
но шаг — и стратегическим шоссе
тропинка к дому обернется.

По улицам, сливая голоса,
неотличимы брат от брата,
текут и строятся полки и корпуса,
которым не даровано возврата.

Где родились мы? Под звездой какой?
Какие нам определяют силы
носить в себе и ярость, и покой,
и жажду жить, и братские могилы?

* * *

Мне всё известно. Я устал всё знать
и всё предвидеть.
А между тем как запросто опять
меня обидеть.

Как мало значу я без гордых сил,
в костюме зашитый.
Мой опыт мне совсем не накопил
от бед защиты.

Судьба моя, беспомощна сама,
и в ус не дует.
История, сходящая с ума,
со мной флиртует.

Флиртуй, флиртуй, сентябрьская ночь,
кажись забавной.
Невыносимо, но не превозмочь
разлуки главной.

Она стоит как стрелочник за мной —
служака честный —
и отправляет мой состав земной
в тупик небесный.

* * *

Владимиру Фрумкину и Виктору Соколову

Калифорния в цвету. Белый храм в зеленом парке.
Отчего же в моем сердце эта горечь, эта грусть?
Я уже писал о том, как объятья наши жарки
от предчувствия разлуки. Ничего, что повторяюсь.

Тайный голос высших сил. Незнакомый почерк веток.
Мы, затерянные где-то между счастьем и бедой...
Ностальгии на века не бывает — лишь на этот,
на короткий промежуток нашей жизни золотой.

Что у вас среди тех деревьев, под стеною белой храма?
Как горите — вдохновенно или так, по мере сил?
Я не знаю, где точней и страшнее наша драма,
и вернетесь ли обратно, я не знаю. Не спросил.

* * *

Б. Чичибабину

Я вам описываю жизнь свою, и больше никакую.
Я вам описываю жизнь свою, и только лишь свою.
Каким я вижу этот свет, как я люблю и протестую,
всю подноготную живую у этой жизни на краю.

И с краёшка того бытья, с последней той ступеньки шаткой,
из позднего того окошка, и зазывая и маня,
мне представляется она такой бескрайнею и сладкой,
как будто дальняя дорога опять открылась для меня.

Как будто это для меня: березы белой лист багряный,
рябины красной лист узорный и дуба черная кора,
и по капризу моему клубится утренник туманный,
по прихоти моей счастливой стоит сентябрьская пора.

* * *

Я умел не обольщаться
даже в юные года.
Но когда пришлось прощаться,
и, быть может, навсегда,

тут уж не до обольщений
в эти несколько минут...
Хоть бы выпросить прощенье,
знать бы, где его дают.

Не скажу, чтоб стал слезливей
с возрастом, но всякий раз
кажется, что мог счастливей
жребий выпросить у вас.

Впрочем, средь великолепий,
нам дарованных судьбой,
знать, и вам не выпал жребий
быть счастливее со мной.

* * *

Дама ножек не замочит,
друг мараться не захочет,
и на свалку спишут старый двор.
Защитите его, струны,
от изменчивой фортуны.
Наша жизнь – короткий разговор.

Что ж вы дремлете, ребята:
ведь осколки – от Арбата!
А какая улица была!
Разрушители гурьбою
делят лавры меж собою.
Вот какие в городе дела.

Ни золота и ни хлеба
ни у черта, ни у неба,
но прошу я без обиняков:
ты укрой меня, гитара,
от смертельного удара,
от московских наших дураков.

Пусть мелодия простая,
но, из сердца вырастая,
украшает наше ремесло.
Ты прости меня, гитара,
может, я тебе не пара,
просто мне с тобою повезло.

* * *

В. Фогельсону

Витя, сыграй на гитаре,
на семиструнной такой,
если, конечно, в ударе,
если она под рукой.

Дай я чехол с нее скину
и как букет поднесу...
Было: свистели нам в спину,
будто бы в позднем лесу.

Этого долгого свиста
нету в помине уже.
Нынче мы все гитаристы —
не наяву, так в душе.

Пальцы притронулись к первой,
тихо откликнулась медь...
... Только бы нотки неверной
нам невзначай не пропеть.

Пальцы касаются баса,
будто в струне той изъян...
... И до последнего часа
буду я верен друзьям.

Пальцы по всем заскользили,
трели сливая и гром...
... Тех, что добры с нами были,
брат мой, помянем добром.

Витя, сыграй на гитаре,
на семиструнной такой,
если, конечно, в ударе,
если она под рукой.

* * *

*В Женеве установлен памятник
генералу Дюфуру, не пролившему
ни одной капли солдатской крови.*

Всё утрясается мало-помалу,
чтобы ожить в поминанье людском.
Невоевавшему генералу
памятник ставят в саду городском.

О генерал, не видны твои козни,
бранные крики твои не слышны.
Что-то таится в любви этой поздней
к невоевавшему богу войны.

В прошлое бронзовым глазом уставясь
сквозь пепелища, проклятья и дым,
как ты презрел эту тайную зависть
к многим воинственным братьям своим?

Или клинки в поединках ослабли?
Или душой, генерал, изнемог?
Крови солдатской не пролил ни капли,
скольких кормильцев от смерти сберег!

Как же ты, сын кровожадного века,
бросив перчатку железной войне,

ангелом бился за жизнь человека,
если и нынче она не в цене!

Я не к тому ведь, что прочие страны
зря воспевают победы свои,
но согласитесь: приятны и странны
в этом краю вожделенья сии.

Может быть, в беге столетий усталых
тоже захочется праведней жить,
может, и мы о своих генералах,
о генерал, будем так же судить.

* * *

Взяться за руки не я ли призывал вас, господа?
Отчего же вы не вслушались в слова мои, когда
кто-то властный наши души друг от друга уводил?
Чем же я вам не потрафил? Чем я вам не угодил?

Ваши взоры, словно пушки, на меня наведены,
словно я вам что-то должен... Мы друг другу не должны.
Что мы есть? Всего лишь крохи в мутном море бытия.
Всё, что рядом, тем дороже, чем короче жизнь моя.

Не сужу о вас с пристрастьем, не рыдаю, не ору,
со спокойным вдохновеньем в руки тросточку беру
и на гордых тонких ножках семеню в святую даль.
Видно, всё должно распасться. Распадайся же... А жаль.

* * *

Как мне нравится по Пятницкой в машине проезжать!
Восхищения увиденным не в силах я сдержать.

Кораблями из минувшего плывут ее дома,
будто это и не улица — история сама.

Но когда в толпе я шествую по улицам Москвы,
не могу сдержать отчаянья, и боли, и тоски.

Мои тонкие запястья пред глазами скрещены,
будто мне грозят несчастья с той и с этой стороны.

Как нелепа в моем возрасте, при том, что видел я,
эта странная раздвоенность, растерянность моя,

эта гордая беспомощность как будто на века
перед этой самой Пятницкой, счастливой, как река.

*** * ***

**Кабы ведать о том, кабы знать:
чем дышать, на кого опереться!..
Перед вами – пустая тетрадь,
с ней еще предстоит натерпеться.**

Утро

Погас на Масловке фонарь
и дремлет, остывая. .
Сменил страничку календарь
под нервный вскрик трамвая.

Растаяла ночная мгла,
и утро закрубилось...
Собака в комнату вошла
с надеждою на милость.

*** * ***

**Корабль нашей жизни приближается к пристани,
и райская роща всё яснее видна.
Чем больше раздумываем, тем ближе мы к истине,
но, чем ближе мы к истине, тем всё дальше она.**

* * *

Воспитанным кровавою судьбой
так дорого признание земное!
Наука посмеяться над собой
среди других наук — дитя дурное:
она не в моде нынче, не в чести,
как будто бы сулит одни мытарства...
А между тем, чтоб честь свою спасти,
не отыскать надежнее лекарства.

* * *

Становлюсь сентиментальным.
В моем облике печальном
что-то есть от поздних рощ,
по которым с перебором
ходит ветер, по которым
шелестит осенний дождь.

Лист моей щеки коснется,
как прохладная ладонь,
и минувший век проснется
весь — надежда и огонь.

Пред его закрытой дверью
подымаюсь на носки,
будто помню, будто верю,
будто млею от тоски.

Памяти Льва Гинзбурга

Жил, пел, дышал и сочинял,
стихам был предан очень.
Он ничего не начинал,
всё так и не закончил.

Жил, пел, ходил, дышал, как все,
покуда время длилось
в своей изменчивой красе...
Потом остановилось.

Как поглядеть со стороны:
пуста тщета усилий.
Но голоса чужой страны
он оживил в России.

Никто не знает, что нужней
да и поймет едва ли...
Но становились мы нежней,
и раны зарастали.

Никто не знает, чьей вины
пожаром нас душило...
А может, не было войны?
Будь проклято, что было!

* * *

Собралися молококане,
жар почуяв под ногами.
Взяли в руки тяжкий плуг,
не щадя ни спин, ни рук.

Улеглись пустые споры,
сникли праздные дела.
Только спины — как опоры,
только руки — как крыла.

Шли они передо мною
белой праведной стеною,
лебединым косяком.
Ни печальных и ни слабых.
Белые платки на бабах.
И мужик за мужиком
в белых робах домотканых,
в черных кепках полотняных
с духоборским козырьком.

Улеглись дневные страсти...
Вот и славно! Вот и счастье!
Я им водочки поднес,
чтоб по-русски, чтоб всерьез.

Но они, сложивши крылья,
тихо так проговорили:
„Мы не русские, браток —
молочка бы нам глоток...”

И запели долгим хором
о Христа явленье скором.
И потрескивал костер,
их сопровождая хор.

В свете искорок бивачных
сонмы ангелов прозрачных
в платьях призрачных до пят,
вскинув крылья за спиною,
всё кружились предо мною,
словно листья в листопад.

* * *

Мой дом под крышей черепичной
назло надменности столичной
стоит отдельно на горе.
И я живу в нем одиноко
по воле возраста и рока,
как мышь апрельская в норе.

Ведь с точки зрения вселенной
я — мышь и есть, я блик мгновенный,
я просто жизни краткий вздох...
Да, с точки зрения природы
ну что — моя судьба и годы?
Нечаянный переполох.

Ад

Весь в туманах житухи вчерашней
всё надеясь: авось, как нибудь, —
вот и дожил до утренних кашлей,
разрывающих разум и грудь.

И, хрипя от проклятой одышки,
поминая минувшую статью,
не берусь за серьезные книжки:
всё боюсь не успеть дочитать.

Добрый доктор, соври на прощанье.
Видишь, как к твоей ручке приник?
Вдруг поверю в твои обещанья
хоть на день, хоть на час, хоть на миг.

Раб ничтожный, взыскующий града,
перед тем, как ладошки сложить,
вдруг поверю, что ложь твоя — правда,
и еще суждено мне пожить.

Весь в туманах житухи вчерашней
так надеюсь на правду твою...
Лучше ад этот, грешный и страшный,
чем без вас отсыпаться в раю.

* * *

Раз и два.

Нынче ты одна, Маруся, в доме голова.

Раз, два, три.

Ничего, что денег мало, — в поле собери.

Раз и два.

Ты одна, моя Маруся, в доме голова.

Раз, два, три.

Ничего, что горя много, — плюнь и разотри.

* * *

Пора уже не огорчаться,
что в жизни предстоит прощаться,
что скоро выпадет пора
обняться дружною семьею
мне с вами, вам же всем — со мною,
пред тем, как сгинуть со двора.

Шестидесятники Варшавы

Шестидесятники Варшавы,
что вас заботило всегда?
Не призрак злата или славы,
а боль родимого гнезда.

И не по воле чьей-то барской
запоминали, кто как мог,
и Яцка баритон бунтарский,
и Виктора тревожный слог.

И в круговерти той безбрежной
внимали все наперечет,
что Витольд вымолвит с надеждой,
что Адам пылко изречет.

Как души жгло от черной хвори!
Но как звенели голоса!
И всё мешалось в этом хоре
и предвещало чудеса.

Конечно, время всё итожит:
и боль утрат, и жар забот,
и стало въявь, что быть не может
чудес — а только кровь и пот.

**Шестидесятники Варшавы,
хулы и кары не боясь,
вы наводили переправы,
чтоб песня не оборвалась.**

* * *

Арбата больше нет: растаял словно свеченька,
весь вытек, будто реченька; осталась только Сретенка.
Сретенка, Сретенка, ты хоть не спеши:
надо, чтоб хоть что-нибудь осталось для души!

* * *

Мой брат по перьям и бумаге,
одной мы связаны судьбой.
Зачем соперничать в отваге?
Мы не соперники с тобой.

Мы оба к сей земле пристрастны,
к ней наши помыслы спешат,
а кто из нас с тобой прекрасней —
пусть Бог и время разрешат.

* * *

Ребята, нас вновь обманули,
опять не туда завели.
Мы только всей грудью вздохнули,
да выдохнуть вновь не смогли.

Мы только всей грудью вздохнули
и по сердцу выбрали путь,
и спины едва разогнули,
да надо их снова согнуть.

Ребята, нас предали снова,
и дело как будто к зиме,
и правды короткое слово
повисло, как голубь во тьме.

* * *

... И ты, который так угрюм, и ты, что праздничен. Вы оба.
Мы стали братьями давно, мы все теперь родня до гроба —
и тот, что в облачке витает, и тот — в подвальном этаже,
нам не в чем упрекать друг друга, делить нам нечего уже.

Пустые лозунги любви из года в год теряют цену,
хоть посиней до хрипоты, хоть бейся головой о стену.
Они слабы и бесполезны, как на последнем вираже,
и мы уж не спешим друг к другу: спешить нам незачем уже.

Но если жив еще в глазах божественный сигнал надежды,
подобный шепоту листвы — необъяснимый, вечный,
нежный,
но если на сердце тревожно, но если горько на душе,
рискнет ли кто сказать, что нынче терять нам нечего уже?

*** * ***

**Наша жизнь – это зал ожидания,
от младенчества и до седин.
Сколько всяких наук выживания,
а исход непременно один.**

* * *

Смилуйся, быстрое время,
бег свой жестокий умерь.
Не по плечу это бремя,
бремя тревог и потерь.

Будь милосердной и мягче,
не окружай меня злом.
Вон уж и Лета маячит
прямо за ближним углом.

Плакать и каяться поздно.
Тропка на берег крута.
Там неприступно и грозно
райские смотрят врата.

Не пригодилась корона,
тщетною вышла пальба...
И на весле у Харона
замерли жизнь и судьба.

* * *

Проснется ворон молодой
и, глаз уставив золотой,
в оконное стекло подышит
и, разорив свое крыло,
достанет вечное перо
и что-то вечное напишет.

* * *

Р. Рождественскому

Пока еще жизнь не погасла,
сверкнув, не исчезла во мгле...
Как было бы всё распрекрасно
на этой зеленой земле,
когда бы не грязные лапы,
неправый вершащие суд,
не бранные крики, не залпы,
не слезы, что речкой текут!

* * *

Л. Люкисону

Из Австралии Лёва в Москву прилетел,
до сестры на машине дожал.
Из окошка такси на Москву поглядел:
холодок по спине пробежал.

Нынче лик у Москвы ну не то чтоб жесток —
не стреляет, в баранку не гнет.
Вдруг возьмет да и спросит: „Боишься, жидок?” —
и с усмешкою вслед подмигнет.

Там, в Австралии вашей, наверно, жара
и лафа — не опишешь пером!
А в Москве нынче хуже, чем было вчера,
но получше, чем в тридцать седьмом.

По Безбожному, Лёва, пройдишь не спеша
и в знакомые лица взглядишь:
у Москвы, может быть, и не злая душа,
но удачливым в ней не родишь.

* * *

Мне не нравится мой силуэт:
невпопад как-то скомкан и скроен.
А ведь мальчик был ладен и строен...
И надежды на лучшее нет.

Поистерся мой старый пиджак,
но уже не зову я портного:
перекройки не выдержать снова —
доплетусь до финала и так.

Но тогда почему, почему,
по капризу какому такому
ничего не прощаю другому
и перчатку швыряю ему?

Покосился мой храм на крови,
впрочем, так же, как прочие стройки.
Новогодняя ель — на помойке.
Ни надежд, ни судьбы, ни любви...

Но тогда отчего, отчего
рву листы и бумагу мараю?
Не сгорел — только всё догораю
и молчанья боюсь своего?

* * *

Ах, если б знать заранее, заранее, заранее,
что будет не напрасным горение, сгорание
терпения и веры, любви и волшебства,
трагического после, счастливого сперва.

Никто на едкий вызов ответа не получит.
Напрасны наши споры. Вот Лермонтов-поручик.
Он некрасив, нескладен, и всё вокруг серо,
но как же он прекрасен, когда в руке перо!

Вот Александр Сергеич, он в поиске и муке,
да козыри лукавы и не даются в руки,
их силуэты брезжут на дне души его...
Терпение и вера, любовь и волшебство!

Всё гаснет понемногу: надежды и смятение.
К иным, к иным высотам возносятся их тени.
А жизнь неутомимо вращает колесо,
но искры остаются. И это хорошо.

И вот я замечаю, хоть и не мистик вроде,
какие-то намеки в октябрьской природе:
не просто пробужденье мелодий и кистей,
а даже возрожденье умолкнувших страстей.

**Всё в мире созревает в борениях и встрясках.
Не спорьте понапрасну о линиях и красках.
Пусть каждый, изнывая, достигнет своего...
Терпение и вера, любовь и волшебство!**

* * *

О. и Ю. Понаровским

Под крики толпы угрожающей,
хрипящей и стонущей вслед,
последний еврей уезжающий
погасит на станции свет.

Потоки проклятий и ругани
худою рукою стряхнет,
и медленно профиль испуганный
за темным стеклом проплывет.

Как будто из недр человечества
глядит на минувшее он...
И катится мимо отечества
последний зеленый вагон.

Весь мир, наши судьбы тасующий,
гудит среди лесов и морей...
Еврей, о России тоскующий,
на совести горькой моей.

* * *

К старости косточки стали болеть,
старая рана нет-нет и занует.
Стоило ли воскресать и гореть?
Всё, что исхожено, что оно стоит?

Вон ведь какая прогорклая мгла!
Лето кончается. Лета уж близко.
Мама меня от беды берегла,
Бога просила о том, атеистка,

карагандинской фортуны своей
лик, искореженный злом, проклиная...
Что там за проволокой? Соловей,
смолкший давно, да отчизна больная.

Всё, что мерещилось, в прах сожжено.
Так, лишь какая-то малость в остатке...
Вот, мой любезный, какое кино
я досмотрел на седьмом-то десятке!

„Так тебе, праведник!“ – крикнет злодей.
„Вот тебе, грешничек!“ – праведник кинет...
Я не прощенья прошу у людей:
что их прощение? Вспыхнет и сгинет.

Так и качаюсь на самом краю
и на свечу несгоревшую дую...
Скоро увижу я маму мою,
стройную, гордую и молодую.

Японская фантазия

Когда за окнами земля кружиться перестала,
тогда Япония сама глазам моим предстала,
спеша, усердствуя, молясь, и плача, и маня...
Друзья мои, себя храня, молитесь за меня.

Пойду пройдусь ночной порой на Гиндзу золотую,
костер удачи распало, свечу обид задую.
Не зря я десять тысяч верст нащелкивал коня...
Друзья мои, себя храня, молитесь за меня.

То брызнет дождь, а то жара, а то туман, о Боже!
Судьба на всех везде одна, знакомо всё, всё то же,
как будто к дому я иду перед началом дня...
Друзья мои, себя храня, молитесь за меня.

Я так устал глядеть вперед с надеждой и опаской.
Пора уж как-нибудь остыть от трепотни арбатской.
Да, я москвич, и там мой дом, и сердце, и броня,
но между тем, себя храня, молитесь за меня.

* * *

Сочиняет плов Мазлум из баранины и риса.
Жир бурлит, вода клокочет, пламя пышет в камельке.
И ковбоекка на нем золотая, словно риза,
и поношенные джинсы, и половничек в руке.

Он стучит по котелку, будто всё не достучится.
Пахнет дом травой, и дымом, и землею, и водой.
Жир задумчивый течет, рис рассыпчатый струится,
и Мазлум над ним колдует, молодой и чуть седой.

Он турецкий любит плов, а любой другой не любит.
Плову — наша благодарность, сочинителю — почет.
Или голод нас сомнет, или сытость нас погубит,
или-или, или-или, или нечет — или чет.

* * *

Ты, живущий вне наших сомнений и драм,
расточающий благостный свет по утрам.
Ты, кому с придыханием мы говорим:
Тешекюр эдерим! Тешекюр эдерим!*

Ты, кого за печали свои не корим
и дороги к кому в бездорожье торим,
и за то, что живем, и за то, что горим,
и за то, что во имя Твое мы творим,
Тешекюр эдерим! Тешекюр эдерим!

*Благодарствуй (*турецк.*)

Турецкая фантазия

Виртуозней и ловчее истамбульского шофера
в целом свете, как ни бейся, не найти.
Каждый выезд – авантюра, приключение, афера,
роковые неурядицы в пути.

Он садится на сиденье в предвкушенье наслаждений,
он сознательно готовится к борьбе.
Сколько в граде Истамбуле непредвиденных течений,
где спасение таится лишь в судьбе.

Но судьба, как я заметил, это детище счастливых,
это им звучит мотив ее трубы,
ну, а тем, кто видит счастье лишь в движеньях суетливых,
не до жиру, не до милостей судьбы.

Вот Ахмет, он спозаранку, чуть поел – и за баранку.
Он и кучер, он и рыцарь, он и плут,
и езда усугубляет его гордую осанку,
хоть шоферы ему форы не дают.

И когда машин лавины, словно танки, словно льдины
разнести его на части норовят,
тут ему подспорьем служат опыт, риск, и жест единый,
и судьба, и обаянье – всё подряд.

Да, он вымотан, конечно. Да, чело покрыто потом,
но в какой-нибудь случайной чайхане
он, отхлебывая чинно чай густой, что пахнет медом,
как паломник исповедуется мне.

И сливаются нежданно лики Запада с Востоком,
кейф – с безумием, пускай лишь раз на дню,
но и скорбь о самом низком, но и мысли о высоком
под ленивую под нашу болтовню.

А потом опять баранка и коварная дорога,
и умение, и страсть, и волшебство...
Всё безумное от Бога, всё разумное от Бога,
человеческое тоже от него.

Песенка Белле

Машина — это дело.
Всё остальное — пыль.
Вот деньги тебе, Белла:
купи автомобиль.

Садись за руль надежный,
дорожный мрак рассей,
лети на крик тревожный
спасать своих друзей.

И в том автомобиле
объезди целый свет...
Я дал бы тебе крылья,
да у меня их нет.

* * *

Благородные жены безумных поэтов,
от совсем молодых до старух,
героини поэм, и молвы, и куплетов,
обжигающих сердце и слух.

Вы провидицы яви, рожденной в подушках,
провозвестницы света в ночи,
ваши туфельки стоптаны на побегушках...
Вы и мужнины, вы и ничьи.

Благородные жены поэтов безумных,
как же мечетесь вы, семена
в коридорах судьбы, бестолковых и шумных,
в ожидании лучшего дня!

И распахнуты крылья любви вековые,
и до чуда рукою подать,
но у судеб финалы всегда роковые,
и соперницы чуду под стать.

Благородных поэтов безумные жены,
не зарекшись от тьмы и сумы,
ваши души сияют, как факел зажженный,
под которым блаженствуем мы.

В этом мире, изученном нами и старом,
что ж мы видим, спадая с лица?
Как уродец, согретый божественным даром,
согревает и ваши сердца.

Но каким бы он в жизни ни слыл безобразным,
слышим мы из угла своего,
как молитвы возносите вы ежечасно
за бессмертную душу его.

И когда он своею трепещущей ручкой
по бумаге проводит пером,
слышу я: колокольчик гремит однозвучный
на житейском просторе моем.

* * *

От войны войны не ищут.
У войны слепой расчет:
там чужие пули рыщут,
там родная кровь течет.

Пулька в золотой сорочке
со свинцовым животом...
Нет на свете злей примочки,
да кого спросить о том?

Всем даруется победа,
не взаправду — так в душе.
Каждый смотрит на соседа,
а соседа нет уже.

Нас ведь создал Бог для счастья
каждого в своем краю.
Отчего ж глухие страсти
злобно сводят нас в бою?

Вот и прерван век недолгий,
и летят со всех сторон
письма, словно треуголки
Бонапартовых времен.

Ироническое обращение к генералу

Пока на свете нет войны,
вы в положении дурачком.
Не лучше ли шататься в штатском,
тем более, что все равны?

Хотя, с обратной стороны,
как мне того бы ни хотелось,
свои профессию и смелость
вы совершенствовать должны?

Ну что моряк на берегу?
Что прачка без воды и мыла?
И с тем, что и без войн вы — сила,
я согласиться не могу.

Хирургу нужен острый нож,
пилоту — высь, актеру — сцена,
геолог в поиске бессменно:
кто знает дело — тот хорош.

Воителю нужна война
разлуки, смерти и мученья,
бой, а не мирные ученья,
иначе грош ему цена.

Воителю нужна война
и громогласная победа,
а если всё к парадом это —
то, значит, грош ему цена.

Так где же правда, генерал?
Подумывай об этом, право,
пока вышагиваешь браво,
предвидя радостный финал.

Когда ж сомненье захлестнет,
вглядись в глаза полкам и ротам:
пусть хоть за третьим поворотом
разгадка истины блеснет.

Детство

Я еду Тифлисом в пролетке.
Октябрь стоит золотой.
Осенние нарды и четки
повсюду стучат вразнобой.

Сапожник согнулся над хромом,
лудильщик ударил в котел,
и с уличным гамом и громом
по городу праздник пошел.

Уже за спиной Ортачала.
Кура пролегла стороной.
Мне только лишь три отстучало,
а что еще будет со мной!

Пустячное жизни мгновенье,
едва лишь запомнишь его,
но всюду царит вдохновенье,
и это превыше всего.

В застолье, в любви и коварстве,
от той и до этой стены,
и в воздухе, как в государстве,
все страсти в одну сведены.

Я еду Тифлисом в пролетке
и вижу, как осень кружит,
и локоть родной моей тетки
на белой подушке дрожит.

* * *

В земные страсти вовлеченный,
я знаю, что из тьмы на свет
шагнет однажды ангел черный
и крикнет, что спасенья нет.

Но, простодушный и несмелый,
прекрасный, как благая весть,
идуший следом ангел белый
прошепчет, что надежда есть.

Нянька

Акулина Ивановна, нянька моя дорогая,
в закуточке у кухни сидела, чаек попивая,
выпевая молитвы без слов золотым голоском,
словно жаворонок над зеленым еще колоском.

Акулина Ивановна, около храма Спасителя
ты меня наставляла, на тоненьких ножках просителя,
а потом я и душу сжигал, и дороги месил...
Не на то, знать, надеялся и не о том, знать, просил.

По долинам, по взгорьям толпою текло человечество.
Слева — поле и лес, справа — слезы, любовь и отечество,
посередке лежали холодные руки судьбы,
и две ножки еще не устали от долгой ходьбы.

Ах, наверно, не зря распался небесною властью
твой российский костер над моею грузинскою страстью,
узловатые руки сплетались теплей и добрей,
как молитва твоя над армянскою скорбью моей.

Акулина Ивановна, всё мне из бед наших помнится.
Оттого-то и совесть моя трепетанием полнится,
оттого-то и сердце мое перебои дает,
и не только когда соловей за окошком поет.

Акулина Ивановна, нянька моя дорогая,
всё, что мы потеряли, пусть вспыхнет еще, догорая,
всё, что мы натворили, и всё, что еще сотворим, —
словно утренний дым над тамбовским надгробьем твоим.

* * *

Прикатить на берег крымский и на Турцию глядеть,
а потом взмахнуть руками, поднапрячься и взлететь
по чудесному капризу, по небесному лучу...
Проплывают лодки, рыбы, всё плывет, а я лечу!

Пролетаю я над морем, над стамбульской Галатой.
Подо мною жизнь иная, Рог, довольно Золотой,
минареты и трамваи, и бараньи шашлыки...
А у нас — одни заботы, только слезы да штыки.

Вот стою уже я прочно на стамбульском берегу,
но гляжу на крымский берег, изогнувшийся в дугу.
Шею вытянул до хруста, мысли черные гоня:
неужели всё впустую? Как там нынче без меня?

Что за грозные решенья долетают сквозь туман?
То ли впрямь разоруженье, то ли заново обман?
Что там будет? Кем мы были? Кто мы есть, и что нас
ждет?

А на пристани турецкой собирается народ.

Все дела давно забыты, и веселье, и уют,
и они не тостов праздных и не манны с неба ждут,
ждут, чтобы Мазлум с Ахматом здесь, на краешке земли,
с русского на их турецкий боль мою перевели.

* * *

Дима Бобышев пишет фантазии
по заморскому календарю,
и они долетают до Азии —
о Европе уж не говорю.

Дима Бобышев то ли в компьютере,
то ли в ручке находит резон.
Всё, что наши года перепутали,
наострился распутывать он.

Дима Бобышев славно старается,
без амбиций, светло, не спеша,
и меж нами граница стирается,
и сливаются боль и душа.

* * *

Прощайте, стихи, ваши строки и ваши намеки и струны,
и ваши вулканы погасли, и, видимо, пробил тот час...
И вот по капризу природы, по тайному знаку фортуны
решается эта загадка: кто будет услышан из вас.

Когда вы так странно рождались, как будто входили
без спроса,
как будто с блаженной улыбкой с господского ели стола,
вам всё удавалось отменно, и были наглы вы, а проза
была, словно нищенка, нема и словно подачки ждала.

Но вот, словно молнии, стрелы в глазах неподвижных
проснулись,
но вспыхнули, зарозовели неюные щеки ее.
И тотчас гусиные перья шершавой бумаги коснулись,
и тотчас ушли, не прощаясь, и быт, и беда, и вранье.

А там уж как Бог пожелает, а там уж как время захочет,
а там, что подскажет природа, а там, что позволят
грехи...
Покуда шершавой бумаги хоть капля слезы не омочит,
кто знает — что проза такое? Кто знает, что значит
стихи?

Американская фантазия

Л. Лосеву

Столица северного штата – прекрасный город Монпелье.
Однако здесь жара такая, что хочется ходить в белье.
Да, да, в белье. Да, да, в исподнем. Да, да, пусть даже
в прошлогоднем,
а впрочем, лучше без него.
Как в том дарованном господнем, чтобы предстать
перед этим полднем
рисунком тела своего.

Да, да, пожалуй обнаженным, лишь долларами
снаряженным,
в ладошке потной их держа,
И с этой потною ладошкой, как будто с деревянной ложкой,
перед витринами кружа.

Моя московская ладошка, в тебя вложить совсем немножко,
и эти райские места благословят мои уста.
Мои арбатские привычки к пустому хлебу и водичке
здесь обрывают тормоза, когда витрины бьют в глаза.

Удар – и вой в пустом желудке, не слишком явственный,
но жуткий,
людей пугающий окрест.

Но этот тип, на вид опасный — всего лишь странничек
несчастный,
и он Вермонта не объест.

Глоток — и всё преобразилось: какая жизнь, скажи
на милость!

Я распрямляюсь наяву.
Еще глоток — и что там будет: простит ли Бог или
осудит,
что так несправедливо живу?

Да, этот тип в моем обличье, он так беспомощен
по-птичьему,
так по-арбатски бестолков.
Он раб минувших сантиментов, но кофию за сорок
центов
ему плесните без долгов.

Дитя родного общепита, пустой еды, худого быта,
готов к свершениям опять.
И снова брюхо его сыто, но... на ногах растут копыта,
да некому их подковать.

Америка в оцепененье: пред ней прыжками, по-оленьи
я по траве вермонтской мчусь.
И, непосредствен, словно птица, учу вермонтцев
материться
и мату ихнему учусь.

* * *

Мне нравится то, что в отдельном
фанерном домишке живу.
И то, что недугом смертельным
еще не сражен наяву,
и то, что погодам метельным
легко предаюсь без затей,
и то, что режимом постельным
не брезгаю с юных ногтей.

Но так, чтобы позже ложиться,
и так, чтобы раньше вставать,
а после обеда свалиться
на жесткое ложе опять.
Пугают меня, что продлится
недолго подобная блажь...
Но жив я, мне сладко ложится —
за это чего не отдашь?

Сперва с аппетитом отличным
съедаю нехитрый обед
и в пику безумцам столичным
ныряю под клетчатый плед,
а после в порыве сердечном,
пока за глазами черно,

меж вечным и меж быстротечным
ищу золотое зерно.

Вот так и живу в Подмосковье,
в заснеженном этом раю,
свое укрепляя здоровье
и душу смиряя свою.
Смешны мне хула и злословье
и сладкие речи смешны,
слышны мне лишь выхлопы крови
да арии птичьи слышны.

Покуда старается гений
закон разгадать мировой,
покуда минувшего тени
плывут над его головой
и редкие вспышки прозрений
теснят его с разных сторон,
мой вечер из неги и лени
небесной рукой сотворен.

И падает, падает наземь
загадочный дождик с небес.
Неистовой он раз за разом,
хоть силы земные в обрез.
И вот уж противится разум,
и даже слабеет рука,
но будничным этим рассказом
я вас развлекаю слегка.

На самом-то деле, представьте,
загадочней всё и страшней,
и голос фортуны некстати,
и черные крылья за ней,

и вместо напрасных проклятий,
смирив слепой их обвал,
бегу от постыдных объятий
еще не остывших похвал.

Во мгле переделкинской пуши,
в разводах еловых стволов,
чем он торопливей, тем гуще,
поток из загадок и слов.
Пока ж я на волю отпущен,
и слово со мной заодно,
меж прожитым и меж грядущим
ищу золотое зерно.

Жаркий полдень в Массачусетсе

Джоан Афферика

Какая-то птичка какой-то свисточек
настроила вдруг на июль голубой.
Не знает заботы, поет и стрекочет,
не помнит ни зла, ни обид за собой.

О, как неожидан дебют ее сольный!
Он так поражает и сердце и слух,
как дух Массачусетса, жаркий и вольный,
как Латвии дальней полуденный дух.

Я музыку эту лелею и холю
и каждую ноту ловлю и ценю,
как вновь обретенную вольную волю,
которую сам же всю жизнь хороню...

Шуршание клена. Молчанье гранита.
И птичка, поющая соло свое.
И трудно понять, где таится граница
меж болью моею и песней ее.

* * *

Вроцлав. Лиловые сумерки.
Первые соки земли.
Страхи вчерашние умерли,
новые – где-то вдали.

Будто на мартовском острове
не расставаясь живем,
всё еще братьями-сестрами
гордо друг друга зовем.

Нашу негромкую братию
не погубило вранье.
Всё еще, слава Создателю,
верим в спасенье свое.

Сколько бы мартов ни минуло,
как ни давила бы мгла,
только бы Польша не сгнула,
только б Россия смогла.

* * *

Полночь над Босфором. Время тишины.
Но в стамбульском мраке, что велик и нем,
крики моих предков преданных слышны...
Инч пити асем? Инч пити анем?*

Если б можно было, как заведено,
вытравить из сердца, позабыть совсем!
Но на древних плитах – черное пятно...
Инч пити анем? Инч пити асем?

Это ль не отрава? Это ли не яд?
Полночь быстротечна. Времени в обрез.
Если я не знаю, ты, мой дальний брат,
Инч пити асес? Инч пити анес?***

*Что должен сказать? Что должен сделать? (арм.)

**Что скажешь? Что сделаешь? (арм.)

* * *

Анатолию Рыбакову

Европа пьет водичку из Босфора
и Азия. Вода на всех одна.
Босфор для них — дорога и опора,
но кровь веков на дне его видна.

Неужто ради золота и пищи
от лет молодых до гробовой доски
мы столько поистратили кровищи,
что сердце холодеет от тоски?

За всё платить приходится жестоко.
Всё остальное — суета и прах.
За черный камень, брошенный в пророка,
за слезы на его похоронах.

Когда придут большие перемены —
не ради власти, злата и жратвы
очнется мир и вскрыет себе вены
длиною от Босфора до Москвы.

Красный клен

Красный клен, мое почтение!
Добрый день, вермонтский друг!
Азбуки твоей прочтение
занимает мой досуг.

Каждый лист твой что-то важное
говорит ученику
в это жаркое и влажное
время года на веку.

Здесь из норвичского скверика
открывается глазам
первозданная Америка,
та, что знал по „голосам”.

Здесь, как грамота охранная,
выдана на сорок дней
жизнь короткая и странная
мне и женщине моей.

Красный клен, в твоей обители
нет скорбящих никого.
Разгляди средь всех и выдели
матерь сына моего.

**Красный клен, рукой божественной,
захиревшей на Руси,
приголубь нас с этой женщиной,
защити нас и спаси.**

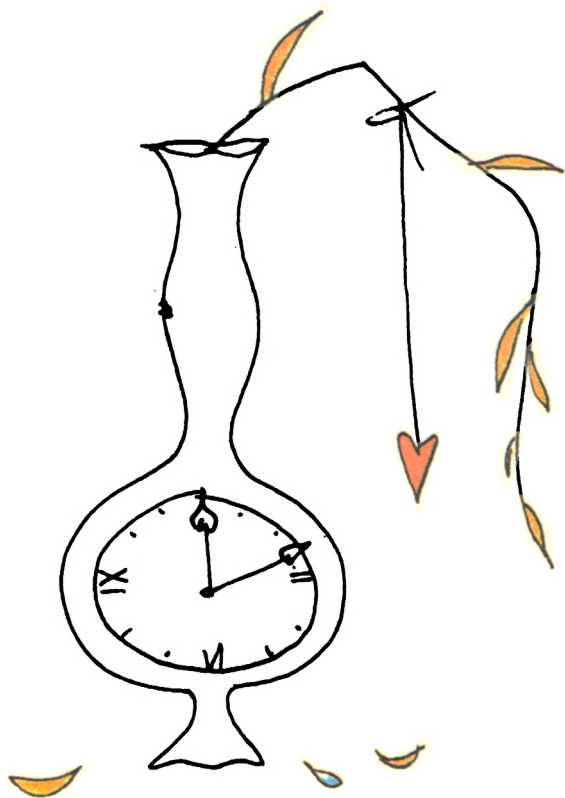
* * *

Париж для того, чтоб ходить по нему,
глазеть на него, изумляться,
грозящему бездной концу своему
не верить и жить не бояться.

Он благоуханием так умащен,
таким он мне весь достается,
как будто я понят уже и прощен,
и праздновать лишь остается.

Париж для того, чтоб, забыв хоть на час
борения крови и классов,
войти мимоходом в кафе „Монпарнас”,
где ждет меня Вика Некрасов.

ДЕВЯНОСТЫЕ





* * *

Рахели

Сладкое бремя, глядишь, обернется копейкою:
кровью и порохом пахнет от близких границ.
Смуглая сабра с оружием, с тоненькой шейкою
юной хозяйкой глядит из-под черных ресниц.

Как ты стоишь... как приклада рукою касаешься!
В темно-зеленую курточку облачена...
Знать, неспроста предо мною возникли, хозяйюшка,
те фронтовые, иные, м о и времена.

Может быть, наша судьба, как расхожие денежки,
что на ладонях чужих обреченно дрожат...
Вот и кричу невпопад: до свидания, девочки!
Выбора нет! Постарайтесь вернуться назад!..

Романс

В. Никулину

В Иерусалиме первый снег.
Побелели улочки крутые.
Зонтики распахнуты у всех
красные и светло-голубые.

Наша жизнь разбита пополам,
да напрасно счет вести обидам.
Всё сполна воздастся по делам
грустным и счастливым, и забытым.

И когда ударит главный час
и начнется наших душ поверка,
лишь бы только ни в одном из нас
прожитое нами не померкло.

Потому и сыплет первый снег.
В Иерусалиме небо близко.
Может быть, и короток наш век,
но его не вычеркнуть из списка.

* * *

Тель-авивские харчевни,
забегаловок уют,
где и днем, и в час вечерний
хумус с перцем подают.

Где горячие лепешки
обжигают языки,
где от ложки до бомбежки
расстояния близки.

Там живет мой друг приезжий,
распроставшийся с Москвой,
и насмешливый, и нежный,
и снедаемый тоской.

Кипа, с темечка слетая,
не приручена пока...
Перед ним – Земля Святая,
а другая далека.

И от той, от отдаленной,
сквозь пустыни льется свет,
и ее, неуголенной,
нет страшней и слаще нет...

... Вы опять спасетесь сами.
Бог не выдаст, черт не съест.
Ну, а боль навеки с вами,
боль от перемены мест.

* * *

Вы говорите про Ливан...
Да что уж тот Ливан, ей-Богу!
Не дал бы Бог, чтобы Иван
на танке проложил дорогу.

Когда на танке он придет,
кто знает, что ему приспичит,
куда он дула наведет
и словно сдуру что накличет.

Когда бы странником – пустяк,
что за вопрос – когда б с любовью,
пусть за деньгой – уж лучше так,
а не с буденными и с кровью.

Тем более, что в сих местах
с глухих столетий и поныне –
и мирный пламень на крестах,
и звон малиновый в пустыне.

Тем более, что на Святой
Земле всегда пребудут с нами
и Мандельштам, и Лев Толстой,
И Александр Сергеич сами.

* * *

Матушки Нонна и Анна,
здесь, в Гефсиманском саду,
гром и ледовая манна
этой зимою в ходу.

Снежное крошево льется,
но до скончания лет
солнышко всё же пробьется —
в этом сомнения нет.

Матушки Анна и Нонна,
что ни грозило бы впредь,
небо глядит благосклонно —
будем любить и терпеть.

Подмосковная фантазия

В. Астафьеву

Ворон над Переделкином черную глотку рвет.
Он как персонаж из песни над головой кружится.
Я кловом назвать не осмеливаюсь его вдохновенный рот,
складками обрамленный скорбными, как у провидца.

И видя глаз прозорливый, и слушая речи его,
исполненные предчувствий, отчаяния и желчи,
я птицей назвать не осмеливаюсь крылатое существо —
как будто оно обвиняет, а мне оправдаться нечем.

Когда бы я был поэтом — я бы нашел слова
точные и единственные, не мучаясь, не морочась,
соответствующие склонностям этого существа
и скромным моим представлениям о силе его пророчеств.

Но я всего стихотворец: так создан и так живу,
в пристрастии к строчке и рифме, в безумии этом
нелепом,
и вижу крылья, присущие этому существу,
но не пойму души его, ниспосланной ему небом.

Я выгляжу праздным и временным в застывших его
глазах,
когда он белое облако рассекает крылом небрежным.

Я царствую здесь, в малиннике, он царствует в небесах,
и в этом его преимущество передо мною, грешным.

Ворон над Переделкином черную глотку рвет,
что-то он всё пророчит мне будто бы ненароком,
и, судя по интонациям, он знает всё наперед...
Но в этом мое преимущество перед лесным пророком.

* * *

Я в Кёльне живу. Возле Копелева.
В Собор захожу по утрам.
Хватает еды мне и топлива,
и мало трагедий и драм.

Из этого, правда, не явствует,
что сытостью я обольщен,
и к людям, в их помыслы частные,
мой въедливый взор обращен.

А что в этих людях таинственных?
И чем они нынче полны?
И нет ли страстей в них воинственных,
а может, уколов вины?

Вот каменщик замер над кладкою,
вот с площади выметен сор,
и улицей, будто украдкою,
задумчивый едет таксёр.

Рабы философии будничной
надежнее прячут улов,
и дух круасанов из булочной
привычен, дразнящ и здоров.

Покуда пророки витийствуют
и учат, как праведно жить,
котомку фортуны единственную
хотя б до крыльца дотащить.

Как всё-таки мало несхожего
во всем, что вокруг наяву...
— Ну как? — вопрошаю прохожего.
— Да так, — отвечает, — живу.

Весь город, как мальчик с обновочкой,
с какою-то тайной в глазах...
Здесь жили и Раечка с Лёвочкой —
да нынче она в небесах.

* * *

Со скоростью сто сорок километров
под музыку ночных французских ветров
я ехал из Нормандии в Париж.
Откинувшись лениво на сиденье,
не в „Жигулях” я ехал – в „ситроене”,
московский запоздалый нувориш.

Я песни пел, я с Францией общался,
в Париж к своим пенатам возвращался,
и не понять, откуда что бралось.
Я был почти что на верху блаженства,
и каждый жест был полон совершенства...
Как что-то вдруг во мне оборвалось.

Припомнилось, привиделось, приснилось,
пригрезилось, и всё остановилось
на том углу, где был я юн и слеп,
в землянке той, не слишком-то удобной,
перед лицом моей фортуны злобной
я выронил из рук свой сладкий хлеб.

Грядущего бытия нечеткий профиль:
пора считать, да вроде час не пробил,
пора забыть, да как-то не с руки...

Что это было, Господи мой Боже?!
Нормандия. Апрель. Мороз по коже.
Ночной пейзаж. И всё – не пустяки.

Не то движенье это скоростное,
а может, просто что-то возрастное:
все радости – гори они в огне...
Когда-нибудь за жизнь свою вторую
я это всё, конечно, расшифрую,
а нынче это недоступно мне.

Шмель в Массачусетсе

Ну надо же: шмель подмосковный
откуда куда залетел!
А свой пиджачишко посконный
для пущего форса надел.

А свой локоточек протертый
под крылышко спрятал слегка,
а лапкой как будто нетвердой
коснулся живого цветка.

Не склонный отнюдь к сантиментам,
он словно из ковшика пил
и с русским как будто акцентом
английские фразы бубнил.

Потом покачал головою,
пыльцу утирая со щек...
И вновь загудел над травкою
шаляпинский чистый басок.

* * *

Памяти А. Д. Сахарова

Когда начинается речь, что пропала духовность,
что людям отныне дорога сквозь темень лежит,
в глазах удивленных и в душах святая готовность
пойти и погибнуть, как новое пламя, дрожит.

И это не есть обольщение или ошибка,
а это действительно гордое пламя костра,
и в пламени праведном этом надежды улыбка
на бледных губах проступает, и совесть остра.

Полночные их силуэты пугают загадкой.
С фортуны не спросишь — она свои тайны хранит.
и рано еще упиваться победою сладкой,
еще до рассвета далече... И сердце щемит.

* * *

На почве страха и тоски
рождаются в башке химеры.
Я трачу чистые листы,
изображая их манеры.

Срисовываю их с себя,
кошусь на них пугливым оком,
как, издеваясь и сопя,
они бесчинствуют под боком.

И искаженный профиль мой
со стороны всего виднее...
пожалуй, не найти бледнее
перед сумою и тюрьмой.

* * *

Через два поколения выйдут на свет
люди, которых сегодня нет.

Им будут странными страхи мои,
искаженный овал моего лица.
Ниточка неразделенной любви
вонзится пулею в их сердца.
Им будет робость моя чужда,
они раскованней будут и злей...
Зависть, ненависть и вражда
взойдут над просторами их полей.

* * *

Давайте чашу высечем хрустальную
из голубого хрусталя
под музыку резца печального
в честь ловких пальцев кустаря.

Давайте позабудем дерзость вздорную
на диком берегу своем;
на чашу глядя ту, на рукотворную,
иные дали воспоем.

В который раз не зря ж мы души подняли
и речи о правде завели...
На свете нет заботы благороднее,
чем украшение земли.

Она нам всем — и первый крик и матушка,
да и последнее жильё.
Ах, только б ни кровинушки, ни
пятнышка
веки на челе ее!

* * *

Покуда на экране куражится Сосо,
история всё так же вращает колесо.

Когда же он устанет и скроется во тьму,
мы будем с прежней страстью прислуживать ему.

И лишь тогда, пожалуй, на место встанет всё,
когда нас спросит правнук: „А кто такой Сосо?“

Перед витриной

Вот дурацкий манекен, расточающий улыбки.
Я гляжу через стекло. Он глядит поверх меня.
У него большая жизнь, у меня ж — одни ошибки...
Дайте мне хоть передышку и крылатого коня!

У него такой успех! Мне подобное не снится.
Вокруг барышни толпятся, и милиция свистит.
У него — почти что всё, он — почти что за граница,
а с меня ведь время спросит и, конечно, не простит.

Мой отец погиб в тюрьме. Мама долго просидела.
Я сражался на войне, потому что верил в сны.
Жизнь меня не берегла и шпыняла то и дело.
Может, я бы стал поэтом, если б не было войны.

У меня медаль в столе. Я почти что был героем.
Манекены без медалей, а одеты хоть куда.
Я солдатом спину гнул, а они не ходят строем,
улыбаются вальяжно, как большие господа.

Правда, я еще могу ничему не удивляться,
выпить кружечку, другую, подскользнуться на бегу.
Манекены же должны днем и ночью улыбаться
и не могут удержаться. Никогда. А я могу.

Так чего же я стою перед этою витриной
и, открывши рот, смотрю на дурацкий силуэт?
Впрочем, м н е держать ответ и т у д а идти с повинной,
где кончается дорога... А с него и спросу нет.

* * *

Как улыбается юный флейтист,
флейту к губам прижимая!
Как он наивен и тонок, и чист!
Флейта в руках, как живая.

Как он старается сам за двоих,
как вдохновенно всё тело...
И до житейских печалей моих
что ему нынче за дело?

Вот он стоит у метро на углу,
душу раскрыв принародно,
флейту вонзая как будто иглу
в каждого поочередно.

Вот из прохладной ладони моей
в шапку монетка скатилась...
Значит, и мне тот ночной соловей —
кто он, скажите на милость?

Как голосок соловья ни хорош,
кем ни слыву я на свете,
нету гармонии ну ни на грош
в нашем счастливом дуэте.

* * *

Вот какое нынче время —
всё в проклятьях и в дыму...
Потому и рифма „бремя”
соответствует ему.

* * *

Ах, если бы можно уверенней
и четче в сей трудный момент:
расплывчатость чистых намерений —
не лучший к добру аргумент.

* * *

Тянется жизни моей карнавал.
Счет подведен, а он тянется, тянется.
Всё совершилось, чего и не ждал.
Что же достанется? Что же останется?

Всякая жизнь на земле – волшебство.
Болью земли своей страждем и мучимся,
а вот соседа любить своего
всё не научимся, всё не научимся.

Траты души не покрыть серебром.
Всё, что случается, скоро кончается.
Зло как и встарь верховодит добром...
Впору отчаяться, впору отчаяться.

Всех и надежд-то на малую горсть,
и потому, зная, во тьме он и мечется,
гордый и горький, и острый как гвоздь,
карий и страждущий глаз человечества.

Рай

Я в раю, где уют и улыбки,
и поклоны, и снова уют,
где не бьют за былые ошибки —
за мытарства хвалу воздают.

Как легко мне прощенье досталось!
Так, без пропуска, так, налегке...
То ли стража у врат зазевалась,
то ли шторм был на Стиксе-реке,
то ли стар тот Харон в своей лодке,
то ли пьян как трактирный лакей...

„Это кто ж там, пугливый и кроткий?
Не тушуйся, всё будет о'кей.
Не преминем до места доставить,
в этом я побожиться могу...
Но гитару придется оставить
в прежней жизни, на том берегу.
И претензии к прошлому миру,
и дорогу обратно домой...”

И сулил мне то арфу, то лиру,
то свирель с золотою каймой.

Но, заласканный сладким тем бредом,
дней былых позабыть не могу:
то ли продал кого, то ли предал,
то ли выдал на том берегу.

* * *

Поверь мне, Агнешка, грядут перемены...
Так я написал тебе в прежние дни.
Я знал и тогда, что они непременны,
лишь ручку свою ты до них дотяни.

А если не так, для чего ж мы сгораем?
Так, значит, свершится всё то, что хотим?
Да, всё совершится, чего мы желаем,
оно совершится, да мы улетим.

* * *

Погода что-то портится,
тусклее как-то свет.
Во что-то верить хочется,
да образцов всё нет.

* * *

Украшение жизни моей:
засыпающих птиц перепалка,
роза, сумерки, шелест ветвей
и аллеи Саксонского парка.

И не горечь за прошлые дни,
за нехватку любви и ласки...
Всё уходит: и боль, и огни,
и недолгий мой полдень варшавский.

* * *

Пока он писал о России,
не мысля потрафить себе,
его два крыла возносили —
два праведных знака в судьбе.

Когда же он стал „патриотом”
и вдруг загордился собой,
он думал, что слился с народом,
а вышло: смешался с толпой.

Мнение пана Ольбрыхского

Русские принесли Польше много
зла, и я презираю их язык...

(анонимная записка из зала)

„Язык не виноват, — заметил пан Ольбрыхский, —
всё создает его неповторимый лик:
базарной болтовни обсевки и огрызки,
и дружеский бубнеж, и строки вечных книг.

Сливаются в одно слова и подголоски,
и не в чем упрекать Варшаву и Москву...
Виновен не язык, а подлый дух холопский —
варшавский ли, московский — в отравленном мозгу.

Когда огонь вражды безжалостней и круче,
и нож дрожит в руке, и в прорезь смотрит глаз,
при чем же здесь язык, великий и могучий,
вместилище любви и до и после нас?”

* * *

Лучше бузумствовать в черной тоске,
чем от прохожих глаза свои прятать.
Лучше в Варшаве грустить по Москве,
чем на Арбате по прошлому плакать.

* * *

Лицо у завистника серое с желтым оттенком,
поэтому он благодарен житейским потемкам,
где цвет этот странный как будто размазан по стенкам,
ну чтоб поприличнее, что ли, пробиться к потомкам.

* * *

Я обнимаю всех живых,
и плачу над умершими,
но вижу замершими их,
глаза их чуть померкшими.

Их души вечные летят
над злом и над соблазнами.
Я верю, что они следят,
как плачем мы и празднуем.

* * *

Мне русские милы из давней прозы
и в пушкинских стихах.
Мне по сердцу их лень и смех, и слезы,
и горечь на устах.

Когда они сидят на кухне старой
во власти странных дум,
их горький век, подзвученный гитарой,
насмешлив и угрюм.

Когда толпа внизу кричит и стонет,
что — гордый ум и честь?
Их мало так, что ничего не стоит
по пальцам перечесть.

Мне по сердцу их вера и терпенье,
неверие и раж...
Кто знал, что будет страшным пробужденье
и за окном — пейзаж?

Что ж век иной. Развеяны все мифы.
Повержены умы.
Куда ни посмотреть — всё скифы, скифы.
Их тьмы и тьмы, и тьмы.

И с грустью озираю землю эту,
где злоба и пальба.
И кажется, что русских вовсе нету,
а вместо них толпа.

Я знаю этот мир не понаслышке:
я из него пророс,
но за его утраты и излишки
с меня сегодня спрос.

В альбом

И. Лиснянской

Что нам досталось, Инна,
как поглядеть окрест?
Прекрасная картина
сомнительных торжеств,
поверженные храмы
и вера в светлый день,
тревожный шепот мамы
и Арарата тень.

А что осталось, Инна,
как поглядеть вокруг?
Бескрайняя равнина
и взмах родимых рук,
и робкие надежды,
что не подбит итог,
что жизнь течет, как прежде,
хоть и слезой со щек.

* * *

Что происходит под нашими крышами,
в наших сердцах, среди своих и чужих?
Вижу потомка я профиль возвышенный
и удивленье в глазах голубых.

Да, мы старались, да вот пригодится ли
наше старанье на все времена?
Дезик, мне дороги наши традиции:
верность, виктория, вобла, война,

воля, восторг, вероятность везения,
всё, что угасло, как детские сны...
Да не сотрутся в лукавом забвении
гении нашей кровавой вины!

И, растворяясь по капельке в воздухе,
может, когда-нибудь выйдут на свет
сладость раскаянья, слезы и отзвуки
боли, чему и названия нет.

*** * ***

**„Шибко грамотным” в обществе нашем
неуютно и как-то темно.
Нет, не грохот проклятий им страшен –
злой шепот, возникший давно.**

* * *

Был Лондон предо мной. А нынче вновь всё то же.
Был Лондон предо мной и чистое крыльцо.
Был Лондон предо мной. А нынче — дрожь по коже
и родины больной родимое лицо.

* * *

Резо Габриадзе

А вот Резо — король марионеток —
чей тонок вкус и каждый палец меток:
марионетки из его ребра.
В них много и насмешки, и добра.

И нами управляет Провиденье,
хоть ниточек и скрыта череда...
Но как похожи мы! Вот совпадение!..
Не обольщайтесь волей, господя!

* * *

Нынче я живу отшельником
меж осинником и ельником,
среди лени и труда.
И мои телохранители —
не друзья и не родители...
Солнце, воздух и вода.

* * *

Ничего, что поздня поверка.
Всё, что заработал, то твое.
Жалко лишь, что родина померкла,
что бы там ни пели про нее.

* * *

Поверившие в сны крамольные,
владельцы злата и оков,
наверно, что-то проворонили
во тьме растаявших веков.

И как узнать, что там за окнами?
Какой у времени расчет?..
Лишь дрожь в душе, и плечи согнуты,
и слезы едкие — со щек.

Но эти поздние рыдания
нас убеждают неспроста,
что вечный мир спасут страдания,
а не любовь и красота.

Памяти Алеся Адамовича

Старость — явление не возрастное.
То ли итог поединка с судьбой,
то ли, быть может, предчувствие злое,
то ли сведение счетов с собой.

И ни один златоустый потомок
не извлечет вдохновенно на свет
из отдаленных ли, близких потомков
то, чего не было вовсе и нет.

Вот и дочитана сладкая книжка,
долгие годы в одно сведены,
и замирает обложка, как крышка,
с обозначением точной цены.

Свадебное фото

*Памяти Ольги Оксужава
и Галактиона Табидзе*

Тетя Оля, ты — уже история:
нет тебя — ты только лишь была.
Вот твоя ромашка, та, которая
из твоей могилки проросла.

Вот поэт, тогда тебя любивший,
муж хмельной — небесное дитя,
сам былой, из той печали бывшей,
из того свинцового житья.

А на фото свадебном, на тусклом,
ты еще не знаешь ничего:
ни про пулю меж Орлом и Курском,
ни про слезы тайные его.

Вот и восседаешь рядом тихо
у нестрашных, у входных дверей,
словно маленькая олениха,
не слышавшая про егерей.

Отъезд

Владимиру Спивакову

С Моцартом мы уезжаем из Зальцбурга.
Бричка вместительна. Лошади в масть.
Жизнь моя, как перезревшее яблоко,
тянется к теплой земле припасть.

Ну а попутчик мой, этот молоденький,
радостных слёз не стирает с лица.
Что ему думать про век свой коротенький?
Он лишь про музыку, чтоб до конца.

Времени нету на долгие проводы...
Да неужели уже не нужны
слёзы, что были недаром ведь пролиты,
крылья, что были не зря ведь даны?

Ну а попутчик мой ручкою нервной
машет и машет фортуне своей,
нотку одну лишь нащупает верную —
и заливается, как соловей.

Руки мои на коленях покоятся,
вздых безнадежный густеет в груди:
там, за спиной — „До свиданья, околица!“...
И ничего, ничего впереди.

Ну а попутчик мой божеской выпечки,
не покладая стараний своих,
то он на флейточке, то он на скрипочке,
то на валторне поет за двоих.

* * *

От стужи, от метелей и от вьюг,
от полчищ соплеменников несчастных,
бывало, улетали мы на юг
для поисков пристанищ безопасных.

Так жили мы в иные времена,
но давние дороги позабыты,
и к северу торопится война,
и юг сожжен, и компасы разбиты.

Пророчества сбываются теперь.
Видать, пришло им времечко сбываться:
распахиваю запертую дверь,
но... продолжаю как всегда бояться.

* * *

Мгновенна нашей жизни повесть,
такой короткий промежуток,
шажок, и мы уже не те...
Но совесть, совесть, совесть, совесть
в любом отрезке наших суток
должна храниться в чистоте.

За это, что ни говорите,
чтоб всё сложилось справедливо,
как суждено, от А до Я,
платите, милые, платите
без громких слов и без надрыва,
по воле страстного порыва,
ни слёз, ни сердца не тая.

*** * ***

**Вымирает мое поколение,
собралось у двери проходной.
То ли нету уже вдохновения,
то ли нету надежд. Ни одной.**

* * *

История, перечь ей – не перечь,
сама себе хозяйка и опора.
Да здравствует, кто сможет уберечь
ее труды от суетного вздора!

Да, не на всех нисходит благодать,
не всем благоприятствует теченье.
Да здравствует, кто сможет разгадать
не жизни цель, а свет предназначенья!

* * *

Меня удручают размеры страны проживания.
Я с детства, представьте, гордился отчизной такой.
Не знаю, как вам, но теперь мне милей и желаннее
мой дом, мои книги, и мир, и любовь, и покой.

А то ведь послушать: хмельное, орущее, дикое,
одетое в бархат и в золото, в прах и рваньё —
гордится величиём! И всё-таки слово „великое”
относится больше к размерам, чем к сути ее.

Пространство меня удручает, влечет, настораживает,
оно — как посулы слепому на шатком крыльце:
то белое, красное, серое, то вдруг оранжевое,
а то голубое... Но черное в самом конце.

* * *

Малиновка свистнет и тут же замрет,
как будто я должен без слов догадаться,
что значит всё это и что меня ждет,
куда мне идти и чего мне бояться.

Напрасных надежд долгожданный канун.
Березовый лист на лету бронзовеет.
Уж поздно. Никто никого не заменит...
Лишь долгое эхо оборванных струн.

Обольщение

В старинном зеркале стенном, потрескавшемся,
тускловатом,
хлебнувший всякого с лихвой, я выгляжу
аристократом
и млею, и горжусь собою, и с укоризною гляжу
на соплеменников ничтожных — сожителей
по этажу.

Какие жалкие у них телодвижения и лица!
Не то, что гордый профиль мой, достойный
с вечностию слиться.
Какие подлые повадки и ухищрения у них!
Не то, что зов фортуны сладкий и торжество
надежд моих.

Знать, высший смысл в моей судьбе златые
предсказали трубы...
Вот так я мыслю о себе, надменно поджимая губы,
и так с надеждою слепую в стекло туманное
гляжусь,
пока холопской пятернею к щеке своей
не прикоснусь.

* * *

Тщеславие нас всех подогревает.
Пока ж никто и не подозревает,
как мы полны тщеславием своим,
давайте в скромных позах постоим.

А это значит: не боксер на ринге,
не заводила — оторви да брось,
а глазки в пол, а ручки на ширинке,
а пятки вместе, а носочки врозь.

И вот тогда удача улыбнется,
тогда и постреляем по своим.
Кто рвется к власти — всласть ее нажрется...
А нынче в скромных позах постоим.

* * *

Что есть полоски бересты,
разбросанные перед нами?
Они – как чистые листы,
украшенные письменами.

Из тех рисунков и значков
к ним, в нашу жизнь, под наши своды
врывается из тьмы веков
исповедальный крик природы.

Непраздным опытом полна,
она тот крик в листы заносит,
и что-то всё твердит она:
предупреждает или просит?

* * *

На улице моей беды стоит ненастная погода,
шумят осенние деревья, листвою блеклою соря.
На улице моих утрат зиме господствовать полгода:
всё ближе, всё неумолимей разбойный холод декабря.

На улице моей судьбы не всё возвышенно и гладко...
Но теплых стен скупая кладка? А дым колечком из трубы?
А звук неумершей трубы, хоть всё так призрачно и шатко?
А та синица, как загадка, на улице моей судьбы?..

Звезда Голливуда

Д. А. Половец

Вот Дина Абрамовна с улыбкой Фаины Раневской, с ее же глазами, которых не спутаешь: не с кем, еврейская женщина родом от Красных ворот, где всё раскололось однажды, а в поисках адреса возможно, представьте, попасть и в объятья Лос-Анджелеса, что реже случается именно наоборот.

Да, это, конечно, значительно реже случается. И надо же так нахлебаться, нажраться, отчаяться, что станут профессией Боль, и Надежда, и Даль. А там уж, естественно, белых платочков махание и радостный вздох, а потом затрудненность дыхания, поскольку разлука — не только „отчаль да причаль”.

И вот она в городе, где проживают колибри и Господа славят, где домики к скалам прилипли, а рядом течет по-арбатски знакомо Ферфакс... И если взглядеться в его тротуары отсюда, Вы, Дина Абрамовна, словно звезда Голливуда, плывете спокойно. В авто. Мимо них. Просто такс.

Манхэттен

Променады по Манхэттену... Загадочен Манхэттен!
Даже стреляный арбатец и начитанный при этом
удивляется, как топчется на стертом пяточке
забастовщик в черном галстуке, в тугом воротничке.

Или видит он воочию бродвейскую премьеру,
или хиппи, или мусорщика стройного не в меру
и различные картинки в этой каменной глуши:
ленты, кружева, ботинки — что угодно для души!

И тогда его охватывает, этого арбатца,
мир, в который ему выпало так призрачно пробраться,
и хотя над ним трепещут еще прежние крыла,
но в башке уже колотятся нью-йоркские дела.

Мир компьютеров и кнопок!.. Чем же мы не угодили?
Отчего же своевременно нас не предупредили,
чтоб мы знали: что посеем — то и будем пожинать?
Отчего нас не на кнопочки учили нажимать?

Кто мы есть? За что нам это? Что нас ждет и кто поможет?
Или снова нас надежда на удачу облапошит?
Или всё же в грудь сомнений просочится тайный яд?
Или буду я, как прежде, облапошиваться рад?

Марусенька

Какая грусть — лететь в полночном поезде
среди степей и прочих гиблых мест...
Едва хлебнешь начала этой повести,
опомнишься, как вдруг упрешься в Брест.

Марусенька, ты словно незаконная
вдруг вынырнешь из темного угла
и побежишь, а в сердце — дурь вагонная,
а на весу — кошелки барахла.

Там, в облаке, под крышею вокзальной
прозрачный ангел вьется и кружит.
Чем связан он с судьбой твоей печальной?
Как горек хлеб! Как времечко бежит!

Бегут за нами следом обещания
счастливых дней, которых так хотим...
Марусенька, той станции прощания,
тех фонарей огонь неотвратим.

Но будет впрок сумятица вечерняя
и добрый знак твоим младым летам,
что тайна твоего предназначения
не здесь, не здесь — а там, а там, а там...

Пусть судьба ковры не стелет под ноги,
но не забудь совсем в иные дни,
Марусенька, сама витая в облаке,
ты обо мне украдкой помяни.

* * *

Новелле Матвеевой

Мы – романтики старой закалки
из минувшей и страшной поры.
Мы явились на свет из-под палки,
чтоб воспеть городские дворы.

Струн касались рукою привычной,
и метался меж нами, как зверь,
целомудренный ангел столичный,
одурев от любви и потерь.

Ну, а нынче, запутавшись между
давней страстью своей и виной,
расплатиться хотим за надежду
самой горькой дворовой ценой.

* * *

Под копытами снег голубой примят.
Еду в возке я по чужой стороне...
Так грустно, брат мой, грустно, мой брат!
Ах, кабы вспомнил кто обо мне.

Там горит огонек у того леска.
Еду в возке я. Дуга на коне...
Всё тоска окружает, тоска, тоска!
Ах, кабы вспомнил кто обо мне.

Всё чужие леса да чужая даль.
И мороз страшней, и душа в огне...
А печаль-то, мой брат, печаль, печаль!
Ах, кабы вспомнил кто обо мне.

* * *

Ехал всадник на коне.
Артиллера орала.
Танк стрелял. Душа сгорала.
Виселица на гумне...
Иллюстрация к войне.

Я, конечно, не помру:
ты мне раны перевяжешь,
слово ласковое скажешь...
Всё затянется к утру...
Иллюстрация к добру.

Мир замешан на крови.
Это наш последний берег.
Может, кто и не поверит —
ниточку не оборви...
Иллюстрация к любви.

* * *

Вот приходит Юлик Ким и смешное напевает.
А потом вдруг как заплачет, песню выплеснув в окно.
Ничего дурного в том: в жизни всякое бывает —
то смешно, а то и грустно, то светло, а то темно.

Так за что ж его тогда не любили наши власти?
За российские ли страсти? За корейские ль глаза?
Может быть, его считали иудеем? Вот так здрасьте!
Может, чудились им в песнях диссидентов голоса?

Страхи прежние в быллом. Вот он плачет и смеется,
и рассказывает людям, кто мы есть и кто он сам.
Впрочем, помнит он всегда, что веревочка-то вьется...
Это видно по усмешке, по походке, по глазам.

Песенка Льва Разгона

- Лёва, как ты молодо выглядишь!
- А меня долго держали
в холодильнике... (в лагере)

Я долго лежал в холодильнике,
омыт ледяною водой.
Давно в небесах собутельники,
а я до сих пор молодой.

Преследовал Север угрозою
надежду на свет перемен,
а я пригвоздил его прозою –
пусть маленький, но феномен.

По воле судьбы или случая
я тоже растаю во мгле,
но эта надежда на лучшее
пусть светит другим на земле.

* * *

А. Приставкину

Насколько мудрее законы, чем мы, брат, с тобою!
Настолько, насколько прекраснее солнце, чем тьма.
Лишь только начнешь размышлять над своею судьбою,
как тотчас в башке — то печаль, то сума, то тюрьма.

А долго ль еще колесить нам по этим дорогам
с тоскою в глазах и с сумой на сутулой спине?
И кто виноват, если выбор, дарованный Богом,
выходит нам боком? По нашей, по нашей вине.

Конечно, когда-нибудь будет конец этой драме,
а нынче всё то же, что нам непонятно самим:
насколько прекрасней портрет наш в ореховой раме,
чем мы, брат, с тобою, лежащие в прахе пред ним!

В карете прошлого

1

В карету прошлого сажусь. Друзья в восторге.
Окрестный люд весь двор заполонил.
Тюльпаны в гривах вороной четверки,
и розу кучер к шляпе прицепил.
С улыбкою я слышу из-за шторки
ликующий шумок скороговорки...
Не понимаю: чем я угодил?
Как будто хлынул свет во все каморки,
которыми кишат еще задворки,
как прошлого неповторимый жест...
Не понимаю сути сих торжеств.

2

Я что хочу? В минувший век пробраться.
Быть может, там — секреты бытия,
что так бездарно в канувшем таятся
и без которых нынче жалок я.
Вот и рискую. А куда деваться?
И обойдусь, такое может статься,
без ваших правд и вашего вранья.
Как просто всё! Чего же тут бояться?
И визы ведь не нужно добиваться

и всяких циркуляров и словес,
пожалованных будто бы с небес.

3

Мы трогаемся. Тут же ироничный,
глумливый хор арбатский слышен вслед.
Как понимать? На мне костюм приличный,
не под судом, долгов как будто нет.
Я здесь рожден, я — баловень столичный,
к мытарствам и к хуле давно привычный...
Не понимаю: чем я застю свет?
Кому мешает мой поступок личный?
Чей шепоток несется фанатичный,
что мне, мол, не уехать далеко?..
Не понимаю: едется легко.

4

Откинувшись, я еду по бульварам,
Пречистенке, Никитской и Сенной.
Вот дворник с запотевшим самоваром,
а вот субботний митинг у пивной,
где некто норовит надраться даром.
Его городской порочит с жаром,
а барышня обходит стороной.
Попахивает анекдотцем старым
с папашей-недотепой и гусаром...
И в этот водевильный ералаш
въезжает мой стерильный экипаж.

5

Стоит июль безветренный и знойный,
на козлах кучер головой поник,

Мясницкою плетется скот убойный
(Народ не только баснями велик).
Виновного в тюрьму ведет конвойный,
и оба лучшей участи достойны,
но каждый к э т о й участи привык.
Прошла война, грядут другие войны,
их воспевают бардов хор нестройный,
героев прославляя имена
всё те же, что и в наши времена.

6

Минувшее мне мнится водевильным,
крикливым, как пасхальное яйцо.
Под ярмарочным гримом, под обильным,
лубочное блестит его лицо.
Потряхивая бутафорским, пыльным
отрепьем то военным, то гражданским,
комедиант взбегают на крыльцо
и голосом глухим и замогильным
с каким-то придыханием бессильным
вещает вздор, сивухой томим...
Минувшее мне видится таким.

7

И всё-таки я навзничь пораженным
не падаю. Не проявляю прыть.
На всем пути, в бывшее протяженном,
Америки, я вижу, не открыть.
И не каким-то городским пижоном,
а путником, в раздумья погруженным,
я продолжаю потихоньку плыть;
всё тем же завсегдаем прожженным,
картинками из быта окруженным...

Кого-то, знать, их правда потрясла,
но не меня. Я не из их числа.

8

И вижу: ба, знакомые всё лица
и речи, и грехи из года в год!
В одежке, может, малая крупница
нас различает — прочее не в счет.
Так стоило ли в даль сию тащиться,
чтоб выведать, в чем разница таится?
Уж эта ловля блох из рода в род!..
Куда течешь, ленивая столица?
Успел уже и кучер притомиться:
Он в этом разбирается весьма,
хоть не учил ни счета, ни письма.

9

Отбив бока и с привкусом отравы
во рту, я поздно начал понимать:
для поисков мифической державы
вояжи ни к чему предпринимать:
итоги их, как водится, лукавы,
а за пределы выходить заставы —
ну разве что суставы поразмять.
Дворовые пророчества, вы правы:
я жертвой стал совсем пустой забавы,
с которой с детства кем-то связан был...
Движение я переоценил!

10

„Дай Бог,” — я говорил и клялся Богом,
„Бог с ним,” — врага прощая, говорил

так, буднично и невысоким слогом,
так, между дел, без неба и без крыл.
Я был воспитан в атеизме строгом.
Перед церковным не вздыхал порогом,
но то, что я в вояже том открыл,
скитаясь по минувшего дорогам,
заставило подумать вдруг о многом.
Не лишним был раздумий тех итог:
пусть Бога нет, но что же значит Бог?

11

Гармония материи и духа?
Слияние мечты и бытия?
Пока во мне всё это зреет глухо,
я глух и нем, и неразумен я.
Лишь шум толпы влетает в оба уха.
И как тут быть? Несовершенство слуха?
А прозорливость гордая моя?
Как шепоток, когда в гортани сухо,
как в просторечье говорят „непруха“ ...
А Бог, на всё взирающий в тиши, —
гармония пространства и души.

12

Скорей назад, покуда вечер поздний
движенья моего не перекрыл!
И там и здесь — одни и те же козни,
добро и зло, и пагубность чернил,
кровавой сечи шум и запах розни,
хотя неумолимей и серьезней,
но тот же, тот же, что и прежде был...
И всякий день, то знойный, то морозный,

нам предстает судьбою нашей грозной.
История нам кажется дурной.
А сами мы?.. А кто тому виной?..

13

И в наши дни, да и в минувшем веке,
как это парадоксом ни зови,
всё те же страсти бьются в человеке:
в его мозгу и в жестах, и в крови.
Всех нас ведет путеводитель некий,
он сам приподымает наши веки,
и нас сжигает то огонь любви,
а то страданье о родимом бреге,
то слепота от сытости и неги...
А то вдруг распояшется толпа,
откинув чубчик праздничный со лба.

14

... Чем тягостней кареты продвиженье,
тем кажется напраснее езда.
Печально распалить воображенье,
но расслаблять не стоит повода.
Крушение надежд — не пораженье,
и наших лиц святое выраженье,
авось, не исказится от стыда.
Стакан вина снимает напряженье...
Как сладостно к пенатам возвращенье!
Да не покинем дома своего,
чтоб с нами не случилось бы чего.



Содержание

Пятидесятые

На Тверском бульваре	7
„Эта женщина! Увижу и немею...”	9
„Неистов и упрям...”	10
Синька	11
Сентиментальный марш	12
Веселый барабанщик	14
„Время идет, хоть шути — не шути...”	15
„Женщины соседки, бросьте стирку и шитье...”	16
„Не верь войне, мальчишка...”	17
„...И когда удивительно близко...”	18
„Глаза, словно неба осеннего свод...”	19
Голубой шарик	20
Ванька Морозов	21
„Не бродяги, не пропойцы...”	23
„Нева Петровна, возле вас — всё львы...”	24
Вобла	26
„На белый бал берез не соберу...”	28
Песенка о солдатских сапогах	29
Король	31
Ангелы	33
Первый день на передовой	35
Полночный троллейбус	37

Медсестра Мария	39
Новое утро	40
„Настоящих людей так немного!..”	41
Песенка об открытой двери	42
Песенка о Фонтанке	43
Московский муравей	44
„Часовые любви на Смоленской стоят...”	45
„Мой мальчик, нанося обиды...”	46
„Дома лучше (что скрывать)...”	47
„Жизнь моя — странствия. Прощай! Пиши!..”	48
„Не пробуй этот мед: в нем ложка дегтя...”	49
„Эта женщина такая...”	50
„Я уйду от пули, делаю отчаянный рывок...”	51
„Из окон корочкой несет поджаристой...”	52
Песенка о комсомольской богине	53
Искала прачка клад	55
До свидания, мальчики	56
„На арбатском дворе — и веселье и смех...”	58
„Не вели, старшина, чтоб была тишина...”	59
„О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой...”	61
„Горит пламя, не чадит...”	62
„Сто раз закат краснел, рассвет синел...”	63
Тамань	64
„На мне костюмчик серый-серый...”	65
„Магическое „два”. Его высоты...”	66
Песенка про Черного кота	67
„Рифмы, милые мои...”	69
„Раскрываю страницы ладоней...”	70
Три сестры	72
Бумажный солдатик	74
„Мне нужно на кого-нибудь молиться...”	75
„...И когда под вечер над тобою...”	76
Джазисты	78
Арбатский дворик	80
Живописцы	81
Песенка об Арбате	82
„Над синей улицей портовой...”	83

„А мы швейцару: „Отворите двери!..”	84
Каравай	86
<i>Шестидесятые</i>	
„Разлюбила меня женщина и ушла не спеша...”	89
Старый пиджак	90
„Тьмою здесь всё занавешено...”	91
Старый дом	92
Черный „мессер”	94
„Я жалею собак с нашей улицы...”	96
Осень в Кахетии	97
По Смоленской дороге	98
Дежурный по апрелю	99
О кузнечиках	100
„Когда известный русский царь в своей поддевочке короткой...”	101
Песенка о московских ополченцах	103
Гитара	104
„Непокорная голубая волна...”	105
Песенка веселого солдата	106
„В саду Нескучном тишина...”	107
Песенка о московском трамвае	108
„Допеты все песни. И точка...”	109
Песенка о пехоте	110
„Всю ночь кричали петухи...”	111
Шарманка-шарлатанка	112
Часики	113
„Шла война к тому Берлину...”	114
Чудесный вальс	115
В Барабанном переулке	116
Александр Сергеич	117
Отрада	119
Песенка про дураков	120
„Когда затихают оркестры Земли...”	121
„Земля изрыта вкривь и вкось...”	122
Музыка	124
„В чаду кварталов городских...”	126
Главная песенка	128

Ночной разговор	129
Старый король	130
Стихи без названия	132
Два великих слова	135
„Я никогда не витал, не витал...”	137
Четыре года	138
Ленинградская музыка	139
Как я сидел в кресле царя	140
„Затихнет шрапнель, и начнется апрель...”	142
„Он, наконец, явился в дом...”	143
„Нацеленный глаз одинокого лося...”	144
Божественное	145
Храмули	146
Фрески	148
1. Охотник	148
2. Гончар	150
3. Раб	151
„Человек стремится в простоту...”	152
Эта комната	153
„Ты — мальчик мой, мой белый свет...”	155
Тиль Уленшпигель	156
Счастливчик Пушкин	157
Житель Хевсуретии и белый корабль	159
„Мой город засыпает. А мне-то что с того?..”	160
„Вселенский опыт говорит...”	161
Март великодушный	162
„Берегите нас, поэтов, берегите нас...”	164
„Мы приедем туда, приедем...”	165
„Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем...”	167
Последний мангал	169
Красные цветы	171
Оловянный солдатик моего сына	173
Дорожная фантазия	175
Замок надежды	177
Последний Пират	178
Песенка о ночной Москве	179
Старый флейтист	180

В городском саду	182
Молитва	183
Фотографии друзей	184
„То падая, то снова нарастая...”	185
Разговор с рекой Курой	186
„Мгновенно слово. Короток век...”	187
Как научиться рисовать	188
Песенка о художнике Пиросмани	190
Проводы юнкеров	192
„В детстве мне встретился как-то кузнечик...”	194
Ленинградская элегия	196
Прощание с осенью	197
Времена	199
Одна морковь с заброшенного огорода	201
Из окна вагона	203
Зной	204
Осень в Царском Селе	205
Песенка про маляров	206
Прощание с Польшей	208
Письмо Антокольскому	209
„Друзья, не надейтесь на чудо...”	211
„Не верю в Бога и в судьбу, молюсь прекрасному и высшему...”	212
Цирк	213
„Разве лев – царь зверей? Человек – царь зверей...”	214
„Решайте, решайте, решайте...”	215
„Надежда, белую рукою...”	216
Встреча	217
Грибоедов в Цинандали	219
Душевный разговор с сыном	221
„Осень ранняя. Падают листья...”	223
„Мы едем на дачу к Володе...”	224
„Карандаш желает истину...”	226
Капли Датского короля	228
Прощание с новогодней ёлкой	230
Старинная студенческая песня	232
„Скрипят на новый лад все перья золотые...”	233

Путешествие в памяти	234
Грузинская песня	235
Песенка о дальней дороге	236
„Ваше благородие госпожа разлука...”	237
Путешествие по ночной Варшаве в дрожжах	238
Белорусский вокзал”	240
„Я вас обманывать не буду...”	242
„Поэтов травили, ловили...”	243
„Немоты нахлебавшись без меры...”	245
„Долго гордая упряжка...”	246
„На углу у гастронома...”	248
Большая перемена	250
„Среди стерни и забудок...”	251
„Песенка короткая как жизнь сама...”	252
Арбатский романс	253
Песенка о Моцарте	255
Военные портняжки	257
<i>Семидесятые</i>	
Речитатив	261
Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкину	263
Считалочка для Беллы	264
Послевоенное танго	267
„С каждым часом мы старше...”	269
Старинная солдатская песня	271
Жизнь охотника	272
Батальное полотно	277
На берегу Великого Океана	278
„Не слишком-то изыскан вид за окнами...”	280
Из фронтового дневника	282
„Умереть – тоже надо уметь...”	284
„Убили моего отца...”	286
„„Я маленький, горло в ангине...” “...”	288
„Римская империя времени упадка...”	290
„Давайте придумаем деспота...”	292
„Чувствую: пора прощаться...”	293
Я пишу исторический роман	295

„Сестра моя прекрасная, Натела...”	297
Чаепитие на Арбате	298
Песенка кавалергарда	302
Кабинеты моих друзей	303
Боярышник „Пастушья шпора”	304
„Быстро молодость проходит, дни счастливые крадет...”	306
Пожелание друзьям	307
Божественная Суббота, или Стихи о том, как нам с Зиновием Гердтом в одну из суббот не было куда торопиться	308
„Заезжий музыкант целуется с трубой...”	310
„А мы с тобой, брат, из пехоты...”	312
„Я вновь повстречался с Надеждой — приятная встреча...”	314
„Стоит задремать немного...”	315
Сентябрь	317
Дом на Мойке	318
Пиратская лирическая	320
„Впереди идет сержант...”	322
„Мы стоим с тобой в обнимку возле Сены...”	323
„Канадский берег под моим крылом...”	324
„Понедельник, после вторник...”	325
„Я живу в ожидании краха...”	326
„Красный снегирь на июньском суку...”	327
„Я горой за сюжетную прозу...”	328
„Сталин Пушкина листал...”	330
„Часики бьют так задумчиво...”	332
„Вот король уехал на войну. Он Москву покинул...”	333
Державин	334
„Шарманка старая крутилась...”	336
„Солнышко сияет, музыка играет...”	338
На смерть Бориса Балтера	339
„Оркестр играет боевые марши...”	340
„Антон Палыч Чехов однажды заметил...”	341
„О фантазии на темы...”	343
„Как хорошо, что Зворыкин уехал...”	344
„У Спаса на Кружке забыто наше детство...”	346
„Как время беспощадно...”	347

Проводы у военкомата	348
<i>Восьмидесятые</i>	
„Гомон на площади Петровской...”	351
О Володе Высоцком	353
Еще один романс	354
„Летняя бабочка вдруг закружилась над лампой полночной...”	355
„Не успел на жизнь обидеться...”	357
Кухня	359
Август в Латвии	360
„У поэта соперников нету...”	361
„С последней каланчи, в Сокольниках стоящей...”	362
„Ну что, генералиссимус прекрасный...”	364
Воспоминание о Дне Победы	365
„Приносит письма письмоносец...”	366
Несчастье	368
„Черный ворон сквозь белое облако глянет...”	370
Работа	372
Песенка о молодом гусаре	374
Надпись на камне	375
Арбатские напевы	376
1. „Всё кончается неумолимо...”	376
2. „Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант...”	377
„Всему времечко свое: лить дождю, Земле вращаться...”	379
Прогулки фрайеров	380
Парижская фантазия	382
„Нужны ли гусару сомненья...”	384
Полдень в деревне (поэма)	386
Дорожная песня	389
Лунин в Забайкалье	391
Настольные лампы	393
„Живые, вставай-подымайся...”	395
„Глас трубы над городами...”	396
Примета	398
„Поздравьте меня, дорогая: я рад, что остался в живых...”	399
„Всё глуше музыка души...”	400
Под Мамонтовкой жгут костры...”	402

„Как наш двор ни обижали — он в классической поре...”	404
Мой почтальон	405
Музыкант	406
„Соединение сердец...”	407
„Почему мы исчезаем...”	408
„Собрался к маме — умерла...”	410
„В день рождения подарок преподнес я сам себе...”	411
„Надежды крашенная дверь...”	412
„Вот музыка та, под которую...”	413
„В нашей жизни, прекрасной, и странной...”	414
„По Грузинскому валу воинственно ставя носок...”	415
„Пока от вранья не отвыкнем...”	417
„Шестидесятники развенчивать усатого должны...”	418
„Славная компания... Что же мне решить?..”	419
Памяти брата моего Гиви	420
Гимн уюту	422
„Не сольются никогда зимы долгие и лета...”	424
„Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик?..”	425
Письмо к маме	426
„После дождичка небеса просторны...”	428
Памяти Обуховой	429
„Мне не в радость этот номер...”	431
„Отчего ты печален, художник...”	432
Дунайская фантазия	433
Калужская фантазия	435
Прощальная песенка волковских актеров	437
„Вечера французской песни...”	438
„От нервов ли, от напряженья...”	440
„Всё забуду про тревогу...”	441
„На полянке разминаются оркестры духовые...”	442
Арбатское вдохновение, или Воспоминания о детстве	443
„На полотне у Аллы Беляковой...”	445
Дерзость, или Разговор перед боем	446
Мое поколение	447
„В больничное гляну окно, а там, за окном — Пироговка...”	448
„Что-то знает Шура Лифшиц...”	450
„Что-то сыночек мой уединением стал тяготиться...”	451

Мой отец	453
„В больнице медленно течет река часов...”	455
„Вот комната эта – храни ее Бог...”	456
„Пишу роман. Тетрадка в клеточку...”	458
„Я выдумал музу Иронии...”	459
„Чувство собственного достоинства – вот загадочный инструмент:...”	460
„Хочу воскресить своих предков...”	461
„Сколько сделано руками удивительных красот!...”	462
„Строка из старого стиха слывет ненастоящей...”	463
„Старики умирать не боятся...”	465
„Над площадью базарною...”	466
Краткая автобиография	468
Песенка	469
„Ах, что-то мне не верится, что я, брат, воевал...”	470
„Восемнадцатый век из античности...”	471
„Из Вашингтона в назначенный срок...”	472
На странную музыку сумрак горазд...”	473
„Весь этот век, такой бесплодный...”	474
„Не уезжай, жена моя, в леса...”	475
„Распахнуты дома. Безмолвны этажи...”	476
„Мне всё известно. Я устал всё знать...”	477
„Калифорния в цвету. Белый храм в зеленом парке...” ..	478
„Я вам описываю жизнь свою, и больше никакую...” ..	479
„Я умел не обольщаться...”	480
„Дама ножек не замочит...”	481
„Витя, сыграй на гитаре...”	482
„Всё утрясается мало-помалу...”	484
„Взяться за руки не я ли призывал вас, господа?...” ..	486
„Как мне нравится по Пятницкой в машине проезжать!...”	487
„Кабы ведать о том, кабы знать...”	488
Утро	489
„Корабль нашей жизни приближается к пристани...” ..	490
„Воспитанным кровавою судьбой...”	491
„Становлюсь сентиментальным...”	492
Памяти Льва Гинзбурга	493
„Собрались молококане...”	494

„Мой дом под крышей черепичной...”	496
Ад	497
„Раз и два...”	498
„Пора уже не огорчаться...”	499
Шестидесятники Варшавы	500
„Арбата больше нет: растаял словно свеченька...”	502
„Мой брат по перьям и бумаге...”	503
„Ребята, нас вновь обманули...”	504
„...И ты, который так угрюм, и ты, что праздничен. Вы оба...”	505
„Наша жизнь — это зал ожидания...”	506
„Смилуйся, быстрое время...”	507
„Проснется ворон молодой...”	508
„Пока еще жизнь не погасла...”	509
„Из Австралии Лёва в Москву прилетел...”	510
„Мне не нравится мой силуэт...”	511
„Ах, если б знать заранее, заранее, заранее...”	512
„Под крики толпы угрожающей...”	514
„К старости косточки стали болеть...”	515
Японская фантазия	517
„Сочиняет плов Мазлум из баранины и риса...”	518
„Ты, живущий вне наших сомнений и драм...”	519
Турецкая фантазия	520
Песенка Белле	522
„Благородные жены безумных поэтов...”	523
„От войны войны не ищут...”	525
Ироническое обращение к генералу	526
Детство	528
„В земные страсти вовлеченный...”	530
Нянька	531
„Прикатить на берег крымский и на Турцию глядеть...”	533
„Дима Бобышев пишет фантазии...”	535
„Прощайте, стихи, ваши строки и ваши намеки и струны...”	536
Американская фантазия	537
„Мне нравится то, что в отдельном...”	539
Жаркий полдень в Массачусетсе	542

„Вроцлав. Лиловые сумерки...”	543
„Полночь над Босфором. Время тишины...”	544
„Европа пьет водичку из Босфора...”	545
Красный клен	546
„Париж для того, чтоб ходить по нему...”	548
<i>Деяностиые</i>	
„Сладкое бремя, глядишь, обернется копейкою...”	551
Романс	552
„Тель-авивские харчевни...”	553
„Вы говорите про Ливан...”	555
„Матушки Нонна и Анна...”	556
Подмосковная фантазия	557
„Я в Кёльне живу. Возле Копелева...”	559
„Со скоростью сто сорок километров...”	561
Шмель в Массачусетсе	563
„Когда начинается речь, что пропала духовность...”	564
„На почве страха и тоски...”	565
„Через два поколения выйдут на свет...”	566
„Давайте чашу высечем хрустальную...”	567
Новая Англия	568
„Покуда на экране куражится Сосо...”	569
Перед витриной	570
„Как улыбается юный флейтист...”	572
„Вот какое нынче время...”	573
„Ах, если бы можно уверенней...”	574
„Тянется жизни моей карнавал...”	575
Рай	576
„Поверь мне, Агнешка, грядут перемены...”	578
„Погода что-то портится...”	579
„Украшение жизни моей...”	580
„Пока он писал о России...”	581
Мнение пана Ольбрыхского	582
„Лучше безумствовать в черной тоске...”	583
„Лицо у завистника серое с желтым оттенком...”	584
„Я обнимаю всех живых...”	585
„Мне русские милы из давней прозы...”	586
В альбом	588

„Что происходит под нашими крышами...”	589
„„Шибко грамотным” в обществе нашем...”	590
„Был Лондон предо мной. А нынче вновь всё то же...”	591
„А вот Резо – король марионеток...”	592
„Нынче я живу отшельником...”	593
„Ничего, что поздняя поверка...”	594
„Поверившие в сны крамольные...”	595
Памяти Алеся Адамовича	596
Свадебное фото	597
Отъезд	598
„От стужи, от метелей и от выюг...”	599
„Мгновенна нашей жизни повесть...”	600
„Вымирает мое поколение...”	601
„История, перечь ей – не перечь...”	602
„Меня удручают размеры страны проживания...”	603
„Малиновка свистнет и тут же замрет...”	604
Обольщение	605
„Тщеславие нас всех подогревает...”	606
„Что есть полоски бересты...”	607
„На улице моей беды стоит ненастная погода...”	608
Звезда Голливуда	609
Манхэттен	610
Марусенька	611
„Мы – романтики старой закалки...”	613
„Под копытами снег голубой примят...”	614
„Ехал всадник на коне...”	615
„По Польше елочки бегут. Над Польшей птицы пролетают...”	616
„Вот приходит Юлик Ким и смешное напевает...”	617
Песенка Льва Разгона	618
„Насколько мудрее законы, чем мы, брат, с тобою!..”	619
В карете прошлого	620



*Издание осуществлено
при финансовой поддержке
коммерческого инновационного банка
„АЛЬФА-БАНК”*

и

Независимой Энергетической Компании



ББК 84Р7
О 52

Окуджава Булат Шалвович
О 52 Чаепитие на Арбате: Стихи разных лет. — М.:
ООО „Издательство ПАН”. 1996. — 640 с.

Настоящая книга является сборником стихов Булата Окуджавы, созданных им на протяжении почти полувека — от широко известных авторских песен раннего периода до стихов последних лет. Не претендуя на полноту, сборник, тем не менее, широко представляет поэтическую грань творчества Б. Окуджавы.

ISBN 5 – 85030 – 052X

ББК 84Р7

Корректор В.С.Антонова
Редактор В.И.Цветков

Сдано в набор 03.04.96
Подписано в печать 29.04.96
Формат 70 x 100 ¹/₃₂. Печать офсетная
Гарнитура „Нью Баскервиль” („Paratype”)
Печ. л. 20,0
Тираж 10000. Заказ №2575
ЛР №060019 от 03.07.1991

ООО „Издательство ПАН”
117321 Москва а/я 76
при участии
ТОО фирма „Корона-Принт”
Типография „Новости”
107005 Москва ул. Фр. Энгельса 46

